

СМЕНА 21

Октябрь — в нас! Размышления публициста
Часовые Мавзолея. Фотоэчерк
Уроки революции. Ответственность
Навечно в строю. Маршал Тухачевский
«Шурави» — так называли их в Афганистане
Непримиримость. Роман Ю. Семенова



70 ЛЕТ
ВЕЛИКОГО
ОКТЯБРЯ

Клара СКОПИНА,
лауреат премии
Ленинского комсомола

М

ожет быть, никогда еще, как в этот год 70-летия Велико-го Октября, так горячо не ощущали мы историю своей современницей. Пржитые годы приблизились, окружили нас, кипят в наших домах, выходят на связь с умом и сердцем, шлют свои позывные каждому из нас. Только почему мы все видим в них разное? Хотя и говорим одинаково: пароль Истории — правда. И все-таки именно отношение к прожитому сегодня разделяет нас, как демаркационная линия, — иногда самых близких превращает в непримиримых оппонентов, чужих и далеких, известных только по пылкой заметке в газете, делает желанными товарищами. Почему? Да потому, что мы не сами по себе! Мы вырастаем из прошлого опыта, как из зерна колос! И что из того прошлого брать и любить, а не потерять расточительно — это ведь вопрос о нашем генетическом социальном фонде, о нашем завтра. Потому сегодня История стучит в сердце. И потому видится нам разное: ведь История — это мы с вами, и ничего иного. Как мы в ней существовали и существуем, как и чем наполняли и наполняем поток Времени — сами собой и своими делами и поступками, — так мы и видим ее, и оцениваем. «Слава богу, что прошла не с краю яростной борьбы моя степь», — сказал болгарский комсомолец, подпольщик, партизан, поэт моей юности, университетский сокурсник Димитр Методиев. «Отцы обманули!» — говорит мне сегодняшняя студентка того самого родного моего университета, того же самого родного факультета. «А что, мы обязаны жить так же трудно, как ваше поколение? А вот я буду иметь все, только, может быть, не все сразу...», — говорит молодой коллега. И еще одна ключевая реплика — это уже за «круглым столом», где группа молодых журналистов и комсомольских работников обсуждает жгучую проблему: комсомол и перестройка. «А почему, собственно, в комсомоле нельзя работать спокойно? Без этих стрессов, чрезвычайных ситуаций, вечерних бдений?» Автор реплики артистически хорош собой, крупный, невозмутимый, модно одетый. За два часа это единственные его слова.

«Отцы обманули». Что и говорить, горько это слышать. Горько потому, что надо быть слепыми и глухими, чтобы суметь беспрепятственно втиснуть старшее поколение в каменный мешок этой формулы. Но горько и от другого — от нашего собственного молчания. Вдруг застеснялись говорить о прожитом времени с тем уважением, и удивлением даже, и гордостью, которые помогали нам самим справиться с жизнью. Ведь Время — это лица и судьбы. Не только те, что трагически пресеклись тридцать седьмым годом. Это и те, кто только сегодня получил комсомольский билет, и даже те, кого сегодня комсомол проводил во взрослую жизнь.

История — это не отлетевший листок календаря. Она передается из рук в руки, от сердца к сердцу, от отцов к детям, — именно тогда история и становится тем, что она есть на самом деле, нашей собственной жизнью. Скажут ли о своем комсомоле сегодняшние его бойцы так, как сказала когда-то красноярская поэтесса Лида Федоро-

ва: «Вот и все, мне тридцатый пошел. Что ж, прощай, комсомольское братство? Нет, не верю я, мне комсомол вписан в сердце, как Родина в паспорт!» Скажут ли? А ведь надо для этого ощущения одно-единственное: жить в своем Союзе. Жить со всей страстью молодого сердца, со всем, заложенным природой общественным темпераментом, бесстрашием, безоглядностью, нерасчетливостью молодости. Не стать преждевременными стариками, вопрошающими: «А что я с этого буду иметь?» Не оглядываться на должность, пытаться заранее выяснить: полагается ли к ней машина, не считать, что личная дача слаще костра на берегу таежной речки, где все звезды над головой твои, и песня — как пароль комсомольского братства...

Ненаглядная юность моя... Это ведь мы уже — отцы. А мы — родом из юности, и комсомол нам вписан в сердце. Вписан теми веками, о которых надо помнить всегда, нельзя не помнить. Юность в ватнике и сапогах, надолго ставших самой удобной одеждой, потому что послевоенное комсомольское поколение — дети войны, рожденные в тридцатых, было призвано партией поднимать страну из руин Великой Отечественной, строить новые города за Уралом. Пахать целину, строить заводы, создавать новые отрасли промышленности, осваивать космос — все это выпало послевоенному комсомолу. Это известно из плакатов и учебников. А вот что пережили, что осталось в душе, что вынесли из комсомольской юности, знаем ли?

Без всякого желания только вспоминать, без специального понуждения к воспоминанию всплынула — в сердце? в памяти? — история, растянувшаяся на десятки лет и сейчас продолжающаяся. История города и комсомола, в которой, может быть, с редкостной цельностью уложились последние тридцать лет.

...Леонид Иванов оканчивал Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта и в те предвыпускные дни услышал обращение правительства. Ему показалось — сама судьба говорила голосом радиодиктора: ведь он же сибиряк, кому же еще и обживать родные края? Прямо говорит правительство: не будет на первых порах удобств, поэтому должны поехать на стройки люди сильные, стойкие. А он спортсмен-перворазрядник, альпинист. Он подбил еще десять человек с курса, и они пошли в обком комсомола.

В Ленинградском обкоме Лене Иванову сказали: новоселы поедут строить металлургический комбинат. И сам город — тоже еще строить и строить.

А ленинградский токарь-расточник Володя Бирюков оказался в комсомольском десанте совсем иначе. Пришла на завод разнарядка. Настроение у ребят было кислое, обстановка на собрании напряженная. Какая-то смутная волна поднималась у него в душе: черт возьми, ну, что же они, не понимают, что надо? Стране надо!

— Ну, что же, ребята, ехать, так вместе! Верно? И так, записываемся: Бирюков... Кто еще?

В первой партии с завода поехало четырнадцать человек, из них восемь — из Володиного цеха. У него только что родилась дочка, и когда в октябре жена с ней придет к нему,



ЛЕНИН

их встретит уже полярная ночь и выюга.

Этих двоих из комсомольского десанта 1956 года Норильск свяжет на всю жизнь. Потому что они потом первыми примут на себя многие рискованные и отважные решения...

Мощные БелАЗы и экскаваторы — все это будет потом. А пока — кирка, лопата, мастерок...

...В то же время:

В Свердловске комсомол строит один из первых заводов железобетонных изделий. Революция в стройиндустрии! И впервые вместо малограмотных, а то и «беспаспортных» и потому временных (до лучшего куска) приходят ребята с десятилеткой, с красными комсомольскими путевками. Промерзлая уральская земля не поддается маломощным экскаваторам, и весь свердловский комсомол выходит прогревать землю кострами...

В сорока километрах от Красноярска готовятся к строительству ГЭС...

Под Иркутском начинается легендарный Братск...

...Первая зима в Норильске была страшной. Не было никакого коллектива — просто тысячи молодых ребят, впервые оказавшихся в условиях полярной ночи, ничего подобного в своей жизни не переживших. Оторвавшись сразу от всего надежного, крепкого — семьи, привычного нормальному молодому человеку тех лет заводского товарищества, они не знали, на что здесь опереться.

Активисты были невыборные — у кого душа болела, тот еще таких же двух-трех подхватывал — и айда в общежитие! Сцепившись руками, чтоб не потерять друг друга, они стеной шли против черной пурги.

Общежитие встречало баррикадой. «Долой начальство! Даешь клеевые заработки!»

Невыдуманный внутренний монолог Володи Бирюкова, комсорга тех лет: «Сейчас садануть плечом дверь. Не пускать вперед ребят. Там наверняка ножи. Орут во всю глотку, значит, трусы. Урки, залугали молодых ребятшек, спивают каждый день. Не позволим. Не отдадим. Только не дронуть. Ну, пора. Распрямлились разом, вперед и...» Он никогда и мысленно не говорил — вперед, как пошел бы отец, но всегда в критические минуты именно его представлял себе, встающего навстречу пулям полкового комиссара на Ленинградском фронте. Он не представлял себе его сраженным — всегда поднимающимся в атаку. Володя в девять лет потерял мать, погибшую в блокаду, и чужие люди спасли его, вывезли из Ленинграда под Архангельск. Может быть, тогда и нашил он это пронзительное, щемящее чувство ответственности за других — более слабых, растерявшихся, сбитых с ног лихой минутой или горем. Ведь есть же ценная реакция добра, справедливости, человечности. Испытываю добро на себе, человек множит его, передает его следующему. У него, комсорга Бирюкова, просто душа разрывалась из-за этих ребят — нельзя, чтоб надломилась сейчас, на всю жизнь потеряют в себя веру.

Ничто не возникает в обществе само по себе, в мгновении озарения. Есть глубинное течение в жизни, как у большой речки, — поверху меняется бурля-

щий слой, то шуга идет, то паводок тащит за собой все, что подвернулось, а то чистая и спокойная гладь установилась, а на глубине идет невидимый поток, берегущий здоровье и мощь реки. Глубинный поток жизни несет в себе нешумный, несуетливый народный поиск, народную мысль, пробы нового, отвержение отжившего, — и вот она, перестройка, которая готовилась «отцами» еще в их безоблачные комсомольские времена — еще без теории, без глубокого осмысления, просто как разумная потребность жизни.

Оттуда, из Норильска, пошла идея выборов бригадиров, которую сегодня уже успешно реализуют в жизнь многие комсомольские организации страны.

Чего стоила та первая зима Павлу Федирко, Володе Бирюкову, Жене Французову, Лене Иванову. И боевому комитету строителей. И горькому комсомолу. Они никогда не знали, спокойно ли просят эту ночь, вернутся ли домой.

Были собрания. Были общественные комсомольские суды. Судили прохвостов, игравших на трудностях и растаскивавших людей в разные стороны. Судили руководителей, не сумевших наладить дело в новых условиях и не заботившихся о людях. Иванов и Бирюков вместе с комитетом комсомола раскрыли настоящий притон, испортивший жизнь не одной девочке. В нем окопались те, кто до комсомольского десанта держал стройку в своих руках. Ребята передали материалы в прокуратуру, добились суда над мерзавцами... Это были бои, которые требовали мужества, убежденности, в которых рождался коллектив, основанный на одинаковой преданности делу всех — от землекопа до руководителя стройки.

Через несколько лет заместитель министра Леонид Иванович Иванов скажет мне: «Чем трезвей мы видели пако-сти той, бывшей до нас жизни, тем яростней злость была: не уступить даже в мелочи старому! Создать свое — другую, небывалую жизнь». А какой она должна быть на Севере — именно на Севере, где черная пурга загоняет людей в щели, сбивает в пьяные компании?

— Спорт, туризм — вот в чем спасение! — Леня Иванов, двадцатипяти-летний прораб, не жалел сил, чтобы убедить в этом и комитет строителей, и ребят. — Да не словами же воспитывать взрослых ребят! Интересные занятия нужны, от которых и сам становишься сильнее и интересней. Ведь мы же не просто должны удержать от проступков, но наполнить молодость радостью.

Что они имели для отдыха? Два кинотеатра, профсоюзные клубы в бараках. Правда, комсомол азартно строил телецентр. Но нет ни плавательного бассейна, ни стадиона. На съезде комсомола говорили: пора комсомолу подводить материальную базу под отдых, нельзя его строить на одном энтузиазме и комитетской комнате... Но если ждать, пока базу создаст им кто-то, пожалуй, ее увидят лишь их собственные дети.

И так кстати подвернулась им заметочка в газете об опыте хозрасчетного клуба на Уралмашзаводе! А что, если создать самостоятельный клуб ДОСААФ? Во-первых, это конкретные новые специальности ребятам. Во-вто-

РЕВОЛЮЦИОНЦЫ. МЫ

рых, какие можно организовать сказочные походы — моторизованные, лодочные! В-третьих, какую прорву народа можно занять! Ведь на стройках у них из двенадцати тысяч строителей восемь тысяч молодых.

Когда они начали создавать клуб, трудности возникали, как грибы после дождя: Госбанк отказался принимать деньги непосредственно в банк на том основании, что клуб как организацию нельзя считать законной. Работники клуба не пользовались северными льготами, часто не получали зарплату (Госбанк закрывал счет). Клуб не имел возможности приобретать запчасти, бензин, инвентарь для обслуживания и ремонта. А клуб жил! Энтузиазмом секретаря комитета строителей Володи Бирюкова, молодого инженера, члена ЦК ВЛКСМ Лени Иванова, активистов Французова, Гринцевича, Лазарева и еще сотен таких же, как они, ребят.

Они добровольно взваливали на себя всю полноту ответственности — не ради денег, не ради славы. Да и какой рубль окупит душевные затраты, постоянное напряжение: ведь все их затеи были связаны с несомненным риском.

Опыт Норильска уже летел по стране. Начали один за другим в разных городах появляться — не без сопротивления, не без споров — клубы по интересам, молодежные кафе, творческие студии, литобъединения, театры политической песни — то, что сегодня стало уже для всех привычным и приятательным.

То была внутренняя, духовная, почему-то не всеми принимаемая нынче в расчет жизнь комсомола. Не только «жемчужина Севера», как официально рекомендуется Норильск теперь в справочниках, возведен был молодыми руками. Родилось, окрепло, заявило о себе во весь голос новое сообщество людей, которого семидесятая параллель не знала.

Сотни историй, тысячи светлых судеб, в которые стоит всматриваться сейчас, во время фронтальной перестройки в комсомоле, не только в праздники заглядывать в негаснущие окна райкомов отцовской юности, — в поисках единомышленников, хранителей социалистического генофонда. Вот

о том же пишет еще одна землячка, юная выпускница того же Уральского университета, человек талантливый и открытый: «Я часто думаю, вот если б опыт всех старших поколений, опыт каждого ушедшего человека оставался бы в общественной памяти, то на какой нравственной высоте было бы наше общество!.. Много сейчас говорят о бездуховности, о безыдейности. Но наша жизнь всегда была мудрой. На всякое негативное явление она рождала ответную реакцию: на бездуховность — духовность, на безыдейность — коммунистическую убежденность. И сегодня сильны ряды тех, кто жизнь свою осоз-

нает как борьбу «за лучший вариант человека». Ведь самое главное — знать, что дело, ради которого ты посвятил свою жизнь борьбе, подхвачено следующими поколениями».

«Время имена сотрет и лица, но проглянем все-таки из тьмы, в памяти сумеем сохранить Землю переделавшие, мы. Потому что выше доли нету, тем горючим быть, что поутру вывезет усталую планету на орбиту, близкую к добру...» Вот и он о том же, поэт мой

юности — Дмитрий Методиев. Вот и сомкнуты поколения — отцы и дети. Потому что романтика отцов — это не наивность и не розовые очки, а, может быть, самая великая наша мудрость. Она дает нам возможность заглянуть за горизонт 70 пламенных лет и вызвать в себе к жизни такие силы, о которых и не догадывается даже сугубый реалист. Большая цель, посильная только огромному множеству нас, — это и есть единственное реальное бессмертие.



ПЕРВЫЙ ЧАСОВОЙ

Я пришел к нему, похоже, не вовремя.

— Вы извините, у нас сейчас медсестра. — Ольга Карповна, жена Григория Петровича Коблова, разводит руками. — Договорилась с вами о встрече и совсем забыла, что сегодня у него процедуры... Пройдите пока сюда. — Она открывает дверь другой комнаты. — Я дам вам посмотреть его бумаги, может, что-то пригодится.

«Родился 15/28 сентября 1898 года в семье крестьянина-бедняка, Петра Елистратовича Коб-

лова. С 10-ти до 18-ти лет работал посыльным, кучером, дворником, кочегаром, масленщиком...»

Он прошел путь от посыльного мальчика в купеческой лавке до гвардии генерал-майора. Такие возможности дала ему революция. Более того, не будь революция, его жизнь могла бы оборваться в 1917-м...

«3-го февраля 1917 года, — читаю я дальше, — был призван в царскую армию рядовым солдатом. В июне меня направили на австро-германский фронт, в 32-й Сибирский пехотный полк, который находился в обороне...»

ПОСТ №1

Георгий ТАНУТРОВ

Шаги часовых гулко отдаются в тишине — двести восьмой, двести девятый, двести десятый... Бьют куранты. Второй перезвои — смена караула. Приставив карабины к ноге, часовые застывают под льющей алыми буквами — ЛЕНИН. А ровно через час, сверкнув штыками у Спасских ворот, 210 шагов к посту №1 отсчитает новая смена.



Январь 1924 года. На траурном посту — Григорий Коблов (он в центре — в буденовке).





На Красной площади Федор Федотович Федоткин, часовой сороковых.
Часовой поста № 1 — Роман Правиков.

— До чего ж надоело это женское засилье! — вздыхает Коблов, когда я захожу в его комнату. Он садится в постели, то скливно поглядывая на тумбочку, уставленную всевозможными пузырьками. — Ладно! Давайте лучше поговорим о чем-нибудь повеселее. — И хотя он не особо расположен рассказывать о себе, наша беседа все равно сворачивает к событиям прошлого.

В октябре рота, в которой служил Григорий Коблов, а затем и весь полк отказались идти в атаку. Взбунтовавшиеся солдаты были окружены батальонами карателей. «Изменники царю и отечеству» должны были предстать перед военно-полевым судом, приговор которого был однозначным — расстрел.

— Все мы были уже готовы ушливать команду «пли!», многие простились с однополчанами. И вот тут-то прозвучало это слово — «революция». И еще одно — «Ленин». Это имя принесло нам спасение.

Напуганные тревожными вестями из столицы, командование не решилось устроить расправу над солдатами и направило их в тыл под конвоем «до особого распоряжения».

— Вы спрашиваете, что было с восемнадцатого по двадцать первый?.. Боюсь, что не смогу рассказать по порядку. А вы сможете, — улыбается он, — рассказать четко о сегодняшних днях лет этак через семьдесят?.. Помню только — рубились много в те годы. С казаками, бандитами, белогвардейцами... Помню взмах сабли одного рыжего детины, помню, как ослепило солнце. Когда падал под копыта, подумал: все, конец. А утром чувствую вдруг запах йода, глаза приоткрыл — зайчики по потолку бегают... Вот, а если даты вам нужны, взгляните еще раз в бумаги — там точнее.

«Апрель 1918-го — добровольно вступил в 1-й киргизско-каракалпакский партизанский отряд, в составе которого участвовал в боях с белогвардейцами в степях Самарской, Уральской и Астраханской областей... Октябрь 1918-го — вступил в сводный отряд. Сражался с белогвардейцами в районе Новоузунска... Август 1919-го — зачис-

лен красноармейцем в 1-й киргизский конно-верблюжий дивизион, где вступил в партию большевиков... Июль — август 1921-го — направлен на учебу в Москву — в Объединенную военную командную школу им. ВЦИК. Зачислен курсантом 1-го эскадрона кавдивизиона...»

— 1921 год — самый счастливый год моей жизни. В этом году мне довелось трижды увидеть Ленина.

В первый раз — это было второго октября — курсант Коблов увидел Владимира Ильича за работой. Не в кабинете за письменным столом, а перед зданием Арсенала.

Помещение, где располагались курсанты, пришло в негодность. Когда Ленин узнал об этом, он предложил переоборудовать под казармы здание Арсенала, освободив его от металлолома и старого оружия.

— Работал он энергично и как-то даже весело. Его пример и само присутствие удесятерили наши силы, мы очистили здание от хлама очень быстро. Но главное даже не это. Главное, все мы увидели его отношение к труду! Воспоминание об этом дне всегда помогало мне в тяжелые моменты жизни.

Второй раз я видел Владимира Ильича через несколько дней после субботника. Он выступал на митинге с речью о внутреннем положении, говорил о голоде, о засухе. После собрания мы, курсанты, посоветовались и решили, что будем каждый день отчислять от своего 400-граммового пайка по 200 граммов голодающим детям.

В конце 1921 года произошла еще одна встреча с Лениным. В этот декабрьский день Григорий Коблов стоял на особо ответственном посту № 27 — у кремлевской квартиры Ильича.

— Как сейчас помню: с легким скрипом открывается дверь, и из квартиры выходит Ленин. «Здравствуйте, товарищ часовой!» — обращается он ко мне. «Здравствуйте, товарищ Председатель Совета Народных Комиссаров!» — ответил я.

Заметив мое окаменение, Владимир Ильич спросил, впервые ли я стою на этом посту. Поинтересовался, участвовал ли я в



гражданской войне, откуда родом. А узнав, что я из Заволжья, спросил, переписываюсь ли с родными и какие от них вести. Я ответил, что пишу о страшном голоде. «Да, они вам правильно пишут, — вздохнул Ильич. — Советское правительство принимает сейчас самые энергичные меры, чтобы обеспечить этот район продовольствием».

Потом было несколько лет курсантской службы.

Январь 1924-го врезался в его память навсегда.

— Нет, в тот день скорби я не чувствовал. Для того, чтобы почувствовать скорбь, надо поверить. А я не верил! Не хотел верить!.. Мне казалось, что произошла какая-то ошибка. Ведь не может же такого быть, что я есть, весь мир, такой же, как вчера, есть, а Ленина нет!..

А 27 января 1924 года курсанты Григорий Коблов и Арсентий Кашкин первыми в истории Страны Советов заступили на самый главный пост. Разводящий Янош Меисарош поставил их в почетный караул на пост № 1.

— Помню, — вспоминает старый генерал, — какая тишина была, когда в 16.00 куранты заиграли «Интернационал». Казалось, весь мир замер, чтобы попрощаться с Ильичем. Потом над площадью зазвучала старая революционная песня «Вы жертвою пали в борьбе роковой...», загрозотали в траурном салюте артиллерийские залпы, загудели заводы, фабрики — все звуки слились в один скорбный стон...

Пришел сентябрь 1924-го, подошло время прощаться с кремлевской школой. И вот три молодых краскома — Коблов, Кашкин, Меисарош — вновь встали у входа в Мавзолей. Но пришли они сюда не в караул, на посту № 1 — другие бойцы. Григорий, Арсентий и Янош пришли дать клятву: «Не пожалеем жизни, Ильич, чтобы завершить начатое тобою дело!»

— Сдержал ли я до конца эту клятву? — Григорий Петрович задумывается. — Но одно могу сказать твердо — о клятве, данной в тот день Ильичу, я помнил всю свою жизнь.

Да, он помнил о ней всегда. И в двадцатые—тридцатые, когда служил в кавалерийских полках, и в сороковые, когда сражался с фашистами под Курском, Мценском, Мозырем.

...Иногда ближе к полночи, когда мучит бессонница, когда не дают покоя старые раны, Григорий Петрович негромко аккомпанирует приемник. И вот они, куранты! Он слушает голос Кремля.

Нередко в такие минуты ему вспоминается тот солнечный декабрьский день 1921 года. Вот дверь со скрипом открывается, и в который уже раз он узнает эти внимательные, добрые глаза. Ильич приветливо улыбается и говорит ему:

— Здравствуйте, товарищ часовик!

БЫЛА ВОЙНА...

— Вы задали непростой вопрос, — Федор Федотович Федоткин улыбается. — Наверно, у каждого в жизни были трудные периоды, поэтому ответить, какой из них самый-самый... Он задумывается. — А хотя, знаете, скажу. Даже с точностью до дня. Это 7 ноября 1941 года.

...Немцы стояли под Москвой. «Эстетки» из вермахта уже любовались в подзорные трубы куполами московских церквей. А на Красной площади в это время шел парад. По кремлевской брусчатке громыхали гусеницы танков. Машины были готовы к бою — прямо с площади они уходили на передовую.

— Помню солдат, идущих мимо Мавзолея, — рассказывает Федор Федотович — их отрешенные глаза. Мысленно они были уже там, в бою. Через час, а то и меньше им предстояло месить

сапогами грязь, глотать дым, идти сквозь огонь. Им предстояло умирать. А пока они маршировали по Красной площади их провожали в бой члены правительства, они, может быть, в последний раз вглядывались в это родное слово — «Ленин».

Как же хотелось тогда Федору Федоткину оказаться рядом с ними — там, на переднем крае! Не только потому, что война отняла у него почти всех родных: на немецкой mine подорвалась подводная лодка, командиром которой был его дядя; в боях с гитлеровцами погиб брат; другой брат, мать и три сестры умерли от голода в блокадном Ленинграде. Не только потому, что в сороковом ему уже довелось «понюхать пороху» и он знал твердо: попадет на фронт — от его выстрелов поляжет не один десяток фашистов. Хотелось встретиться с врагом лицом к лицу.

В сорок первом он уже был готов подать рапорт с просьбой направить его на передовую, но кто-то из товарищей по службе опередил его. Ответ М. И. Калинина был лаконичен: «Вы стоите на самом главном посту».

— Подниматься в атаку, бросать гранаты, идти в рукопашную — все это было в моей жизни. Война, конечно, — тяжелая работа, но когда вокруг тебя все движется, клопочет, когда на фронт рвутся даже женщины и мальчишки, а ты, полный сил боец, должен сохранять спокойствие, причем особое — спокойствие часового! Вот это было самым трудным.

Родился он 7 ноября 1919 года, ровно за двадцать два года до того парада на Красной площади. В том же 1919-м смертью героя погиб его отец — красноармеец Федот Федорович Федоткин. Брат отца усыновил мальчика и увез в Ленинград.

Был он обыкновенным парнем, учился неплохо. Но отличало его

одно качество, которое не давало сверстникам покоя — меткость. В городки ли, в кольца — всегда выигрывал, а в тир вообще лучше было с ним не заходить. Его прозвали Робин Гудом.

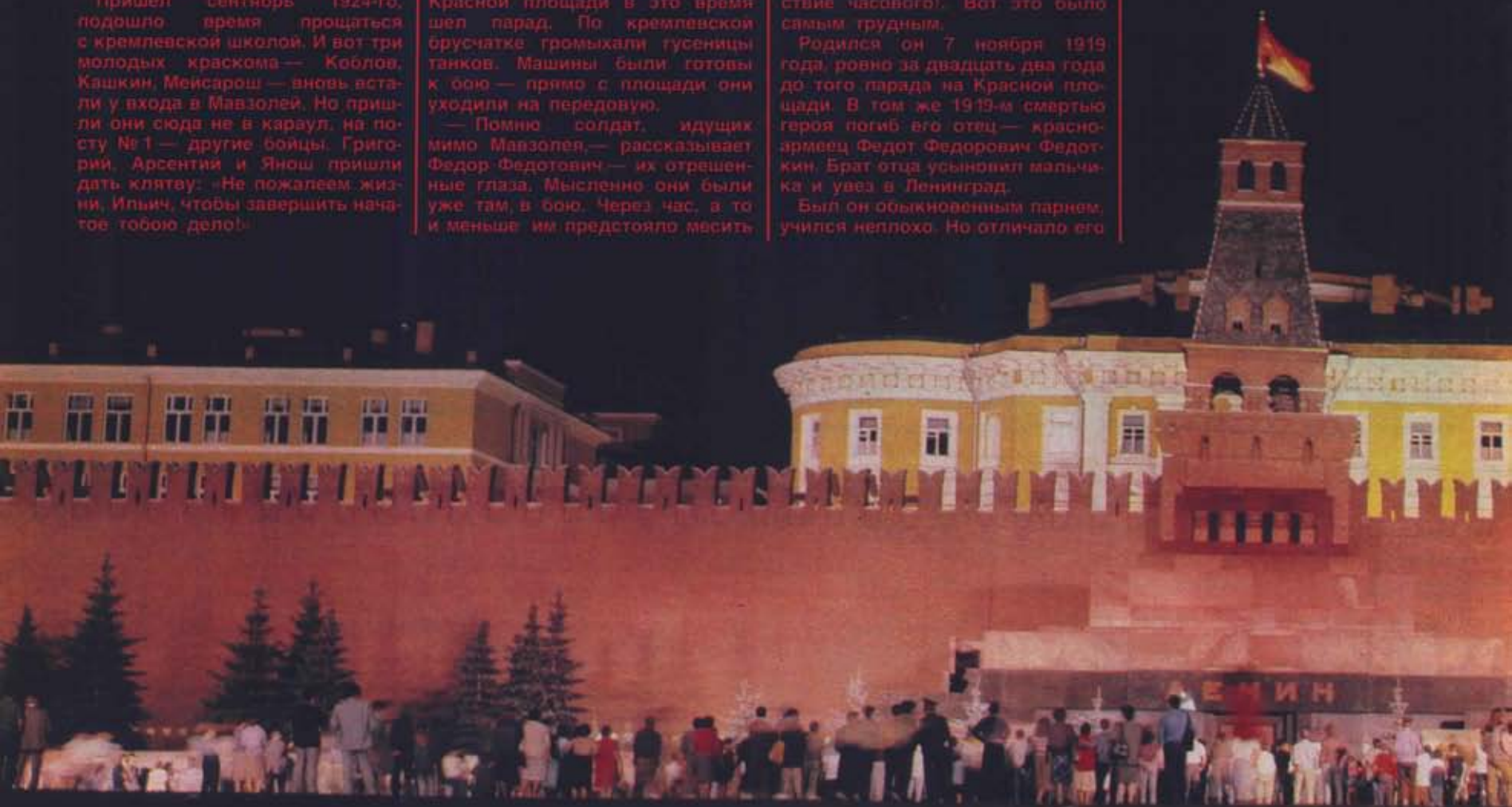
Как-то в обеденный перерыв, сидя в столовой кожевенного завода, шестнадцатилетний рабочий Федор Федоткин подумал: а почему бы не превратить свое увлечение в дело, полезное для всех?

И с того дня тренироваться в стрельбе он стал ежедневно. Через несколько месяцев получил значок «Ворошиловский стрелок». На следующий год с отличием окончил школу инструкторов стрелковой подготовки. А в 1939-м ему присвоили звание «снайпер».

В декабре 1939 года для ведения боевых действий против Финляндии, тогдашнего сателлита гитлеровской Германии, Родине потребовались меткие стрелки, сам Федоткин и несколько его учеников были зачислены добровольцами в 67-й отдельный лыжный батальон.

— В ночь перед штурмом линии Маннергейма замполит читал нам Ленина. Помню, каждая фраза тогда, каждое слово воспринимались нами как что-то личное, сказанное лишь для тебя. «Промедление в выступлении смерти подобно!» — эта фраза врезалась мне в память.

— Победу мы одержали, но какой ценой!.. От нашего батальона осталось меньше половины бой-



цов. И нам еще повезло — сотый батальон, к примеру, полет почти весь...

Еще свежи были в памяти каждый день, каждый час боев на Карельском перешейке, как августовским вечером 1940-го на квартиру Федоткина почтальон принес повестку: его вызывали в Москву. Несколько недель подготовки в учебном пункте части — и он зачислен в курсанты кремлевской школы. В сентябре ему было доверено впервые заступить на пост № 1.

— Не буду говорить о гордости, которую я испытывал тогда. Это и так понятно. Но вот что интересно: стоя на посту № 1, я не чувствовал, что охраняю навеки уснувшего вождя: у меня, да и у многих моих товарищей, было ощущение, что в караул у Мавзолея мы поставлены часовыми его бессмертных идей, а значит, охраняем живого Ленина.

Еще больше поверили мы в это в 1941-м, в первые же дни войны. Если бы вы видели, какие очереди стояли тогда на Красной площади!.. Шли все — солдаты, только что получившие повестку, домохозяйки, пенсионеры, школьники. Шли к Ильичу, чтобы набраться сил, мужества, терпения.

Он рассказывает о первых месяцах войны — о воздушных налетах вражеской авиации, о том, как гибли под бомбами его однополчане... И разговор наш опять возвращается к тому памятного дню — 7 ноября 1941 года.

— Нет, сомнений не было. Ни в тот день, ни в какой другой. Мы знали твердо: фашисты в Москву не войдут... Но если бы и удалось им вдруг прорваться на какое-то время — кремлевцы сражались бы до последнего! Каждый из нас был готов умереть на своем посту.

Он давно заметил одну «географическую странность». Куда

бы ни ехал — на митинг в Дом пионеров, на встречу ветеранов; по другим ли делам, каким бы ни был назначенный им маршрут — он почему-то часто оказывается на станции метро «Проспект Маркса». Именно здесь каждый раз приходит ему мысль «глотнуть свежего воздуха». Выйдя из метро, непременно попадает в самый длинный переход — в тот, что ведет к Красной площади.

Он долго стоит перед Мавзолеем. Вспоминает...

Минутная стрелка все ближе к двенадцати, все громче шаги часовых. Внимательно, даже придирчиво наблюдает он смену караула. Когда куранты умолкают, сдавшие вахту солдаты делают поворот направо и медленно удаляются в сторону Спасской башни. А он — как всегда — поворачивается в сторону Никольской...

Бывает, что на ходу он и смахнет слезу. Красная площадь не заметит этого. Но она наверняка узнает его шаг, твердый кремлевский шаг. Она помнит своих часовых.

СМЕНА КАРАУЛА

— Смѣна! Смѣна! — Стоящая передо мной иностранка толкает под локоть своего спутника, и тот начинает настраивать фотоаппарат. Дальше они говорят уже на своем — шведском. Но примечательно: слово «смена» прозвучало по-русски.

Всматриваюсь в лица приближающихся часовых и узнаю в одном из них Романа Правикова. Не знаю, в чем тут дело — в августовском ли воздухе, в подсветке или в том внутреннем настрое, с каким выходят часовые на пост № 1, но сегодня он кажется мне старше и даже выше ростом.

— Привыкнуть к этому, наверное, все-таки невозможно, — рассказывал он мне накануне. — Каждый раз, когда я выхожу на

этот пост, мне кажется, что на меня смотрит весь мир. Сердце начинает стучать чаще, но это не робость, это происходит скорее от понимания того, какое дело тебе доверено. Робость была только в первый раз.

Да, в то солнечное апрельское утро, когда разводящий скомандовал: «На пленю!», в глазах у Романа потемнело. Больше всего он боялся, что допустит неточность в движениях. Но все прошло как нельзя лучше.

Когда большой колокол Кремлевских курантов пробил двенадцатый раз, стоящий на посту № 1 рядовой Роман Правиков понял, в его жизни произошло что-то очень важное. И только теперь боковым зрением заметил на Красной площади цветы липы, а у самых его ног прыгали по-весеннему драчливые воробьи. День 30 апреля 1986 года запомнился ему навсегда.

— В школе я много читал и конспектировал работы Ленина. Но часто делал это в спешке, до конца не вникая в суть. Здесь же, стоя у Мавзолея, я совсем по-новому открыл для себя Ленина. Хотя иначе, наверное, и быть не могло. Ведь здесь, у стен Кремля, каждый камень помнит живого Ильича. Куда бы ты ни пошел, все время что-то напоминает о нем: квартира, в которой он жил; место, где работал на субботнике, Царь-колокол, мимо которого он прогуливался, поправляясь после ранения. Узнавал все новые и новые факты из биографии Ленина, и хотелось как можно полнее представить себе его жизнь. Потом взялся и за ленинские работы... Поначалу было нелегко. Несмотря на мой пятирочный аттестат, глубоко осмысливать прочитанное, анализировать я не был приучен. Сказывалась школьная привычка — читать, чтобы просто знать содержание.

Роман не стесняется говорить о своих недостатках. Это одно из

качеств, за которое ценят его товарищи. Допустив какую-нибудь оплошность, комсорг группы Правиков никогда не стремится найти себе оправдание. Чем раньше признаешься в своих ошибках, тем скорее от них избавишься, — вот его правило.

— За последние полтора года я стал понимать Ленина гораздо глубже. И дело тут, конечно, не только в моем усердии. Дело в том, что многие ленинские мысли звучат сегодня очень современно. Вы когда-нибудь обращали внимание, как меняются лица людей, стоящих перед Мавзолеем? Нет? А вот я наблюдаю за этим все время. И мне кажется, что, приходя к Ленину, люди приходят сюда и к самим себе, словно встречаются со своей совестью. Приходят взглянуть на себя со стороны. Спросить: а правильно ли я живу? Помните, у Маяковского: «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше...» Лично я понял эти строки по-настоящему только теперь...

КУРАНТЫ

Начало шестого сигнала соответствовало двенадцати часам московского времени, — звучит из радиоприемника голос диктора.

...С трудом приподнявшись в постели, оборачивается на старинные стенные часы Григорий Петрович Коблов.

...Держась за поручень эскалатора, вынимает из кармана часы военного образца Федор Федотович Федоткин.

...Спешащий на занятия Роман Правиков бросает взгляд на электронное табло ручных часов.

Часовые поста № 1 сверяют ход своих часов по Кремлевским курантам. А на Красной площади в этот момент, как всегда, смена караула. Так будет и завтра, и через год.

Так будет всегда.





ПЕРЕХОДИТЬ ОТ СЛОВ К ДЕЛУ — так формулируется самая насущная задача дня.

А для этого надо взять на вооружение все лучшее, что накопило наше общество за семьдесят лет своего развития. Сегодня мы с особым вниманием всматриваемся в тот короткий, но удивительно емкий период, когда во главе нашего государства стоял Владимир Ильич.

На его мыслях, его идеях основан курс обновления, взятый партией. Суть этого курса — широкая демократизация, гласность на всех уровнях, активизация человеческого фактора. Ключ к решению поставленных задач в том, чтобы каждый человек стал подлинным хозяином на своем рабочем месте, в коллективе, в обществе.

Ломка отжившего, утверждение нового стиля работы — процесс нелегкий. Людям, которые включились в него, противостоят бюрократизм, кумовство, цинизм, безверие, другие ставшие за годы застоя привычными пороки.

Но как бы ни был труден этот путь, главное — действовать активно, продуманно, шаг за шагом. Критерии нашей работы — деловитость, настойчивость, ответственность. Об этом, о других актуальных проблемах нашего времени размышляет первый секретарь Сургутского горкома КПСС Николай Григорьевич Аникин, многие годы работающий на тюменском Севере.



70-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОГО
ОКТЯБРЯ

Первый секретарь
Сургутского
горкома КПСС

В поисках ответов на самые острые вопросы современности мы все чаще обращаемся к нашей истории. И в первую очередь — к ленинскому наследию. На ваш взгляд, Николай Григорьевич, чем вызван возросший интерес к прошлому и в особенности к первым годам социалистического строительства?

— Прежде всего сближением слова и дела. Был период, когда ленинские слова использовались в основном для праздничных цитат и лозунгов, для пропаганды наших успехов — подлинных и мнимых. Но народ-то не обманешь, он хорошо видел, что громкие лозунги — сами по себе, а жизнь с ее назревшими проблемами — сама по себе. Вот этот разрыв между лозунгами и конкретными делами ощутимо сказался на общественном настроении.

Партия сегодня не обещает коммунизма через двадцать лет, скорого и всеобщего благоденствия и изобилия. Наоборот, она говорит, что для этого всем нам придется немало поработать, что легкого успеха не будет. Вот эта суровая правда как раз и внушает людям оптимизм. Задачи ставятся реальные, пути их решения намечаются конкретные. Нынешний период обновления социальной и экономической жизни страны характерен тем, что в основе решений партии лежат ленинские идеи о демократии и гласности, о социалистическом хозяйствовании, хозрасчете, о воздействии на производство через интересы людей. Сейчас мы открыто говорим, что ленинские принципы соблюдались не всегда и не в полном объеме. Поэтому естественно, что возрождение этих принципов вызывает самый пристальный интерес к нашему прошлому и его урокам. А через призму истории — к нашим сегодняшним делам.

— В своих работах, выступлениях Ленин неоднократно и настойчиво обращался к вопросам развития демократии. «Развитие демократии до конца, изыскание форм такого развития, испытание их практикой...» — так определял Ильич одну из составных задач борьбы за социальную революцию.

— Мы все сегодня ощущаем современность, политическую остроту и актуальность ленинских заветов. Процесс обновления, перестройки партия начала именно с демократизации общества. Прямо и ясно говорится, что перестройка возможна только через привлечение самых широких масс к управлению всеми делами общества и государства.

— Вам не кажется, что плодами демократизации, гласности пока больше пользуются разные молодежные самостоятельные объединения, нежели рабочие коллективы? Многие рабочие, в том числе и в Сургуте, относятся к происходящим процессам как-то сдержанно, выжидательно.

— Согласен с вами. У многих работников под влиянием негативных явле-

ний прошлого сформировался своеобразный «комплекс равнодушия». Начнем с простого — отношения к работе, к средствам производства. Социологические исследования, проведенные под руководством известного экономиста академика Т. И. Заславской, показали, что в полную силу трудится едва ли третья часть работников. Остальные, по их собственному признанию, «работают с неполной нагрузкой и при другой организации производства могли бы делать больше и лучше». Но вы же понимаете, что ссылка на организацию труда нередко служит всего лишь оправданием собственного безделья, собственной инертности и безразличия к работе. Ну какая особая организация производства нужна, чтобы просто бережно относиться к вверенной тебе технике, оборудованию, материалам?

— Хозрасчет. Не бережешь — рас-
плачивайся сам.

— Хозрасчет, конечно, нужен. Но я сейчас о другом. Можно ли все сводить к рублю? Когда Ленин говорил о личном интересе, то при этом не отрицал же он начисто энтузиазма! Иное дело, что ленинскую формулировку долгое время использовали половинчато. «Пятилетке — энтузиазм и творчество молодых!» — вот мы на собственном опыте и убедились, что на одном энтузиазме, на одном сознании далеко не уедешь. Сейчас все большее значение придается экономическому стимулированию, справедливой оплате труда. Но при этом важно не впасть в другую крайность. Да, нельзя победить равнодушия, разбудить инициативу самых широких масс с помощью призывов и лозунгов. Почти так же наивно рассчитывать только на всемогущую силу рубля.

Я начал с простого — равнодушия немалой части работников к своему делу. А ведь речь идет о вещах несравненно более сложных: необходимо изменить отношение к общим делам — как производственным, так и общественным. Вот вы сослались на самостоятельные объединения: дескать, они больше, чем кто-либо другой, пользуются плодами демократизации. А ведь это легко объяснить. Надеть на себя металлические побрякушки или носиться по городу на мотоциклах — тут ведь никакой работы ума и души не требуется. Да, на волне демократизации появилось немало разной «пены». Так же, впрочем, как это было и в первые послереволюционные годы. Не надо только теряться перед новыми молодежными явлениями. У нас в Сургуте тоже образовались различные объединения. Мы считаем, что запреты ничего не дадут — они все равно будут существовать. Так, например, мы вполне официально признали любительское объединение владельцев видеомагнитофонов. У них есть устав, запрещающий хранить и демонстрировать видео-программы антисоветского, порнографического содержания, пропагандирующие культ насилия, жестокости. В объединении 38 человек. Полагаем, они будут нашими помощниками в нормализации обстановки по видео. Что

касается «металлистов», «рокеров», то мы хотим предложить горкому комсомола провести смотр-конкурс этих объединений. Пусть молодежь сама посмотрит и разберется, что хорошо, а что плохо.

И еще одно хочу сказать: любимы молодежными течениями можно управлять, если действовать нешаблонно и тактично. Вот вам свежий пример — совсем недавно в Сургуте создан подростковый военно-спортивный клуб «Рассвет». Клуб объединяет старшеклассников, учащихся ПТУ и техникума. Организовал его милиционер, комсомолец Анатолий Сивков. Знаете, как? Специально выискивал в городе тех подростков, у кого кресты на шее и железки на руках. И сумел их увлечь! Нашел помещение для клуба, добился, чтобы УВД и ДОСААФ выделили мотоциклы, спортивное оружие. Учит ребят вождению мотоцикла, стрельбе, борьбе самбо, готовит к службе в армии. Подружки с увлечением ремонтировали клубные комнаты, а теперь организуют что-то вроде кооператива: будут в свободное время работать, а деньги — в общий котел. Заработанные средства пойдут на покупку спортивного инвентаря и другого оборудования для клуба, на летние поездки по местам боевой славы — в Севастополь, Брест. Кресты с шеи и железки все сами снимали...

К чему я это рассказываю? К тому, что всегда были и есть люди неравнодушные, активно влияющие на окружающих, на нравственную атмосферу. Как видите, и молодой сержант милиции может деятельно участвовать в управлении социальными процессами, в управлении жизнью своего города. Но, разумеется, для успеха перестройки, для настоящего обновления общества нельзя ждать стихийного прихода энтузиастов-одиночек. Главная задача сегодняшнего дня очень схожа с той, что стояла в первые годы Советской власти. В двадцатые годы Ленин говорил: суть в том, чтобы изучать людей, искать умелых работников, без этого все приказы и постановления — пустые бумажки. Эта ленинская мысль особенно актуальна сейчас, причем в любой сфере — в политике, экономике, общественной жизни.

— Николай Григорьевич, много лет говорятся правильные слова о том, что каждый должен быть хозяином на своем рабочем месте, в коллективе, в обществе. Где гарантии, что призывы и теперь не останутся призывами? Где конкретные формы демократического самоуправления?

— Гарантия — в дальнейшей демократизации экономики. Пока в этом направлении сделаны лишь первые шаги — введена выборность и обязательная отчетность руководителей перед трудовыми коллективами. Надо сказать, и то, и другое не везде проходит гладко. Наряду с компетентными, толковыми руководителями к власти приходят люди, «удобные» для определенной части коллектива. Да и отчеты некоторых руководителей состоят в основном из общих фраз и рассуждений. Конечный итог такого руководства, как правило, — экономическая деста-

Николай АНИКИН

ОТВЕТСТВЕННО

билизация предприятия. На пути демократизации экономики ошибки неизбежны, нам придется пройти и через это. Но уже первый этап показал рост активности и заинтересованности людей.

— Я вот о чем сейчас подумал... Может, одна из серьезных причин застоя крылась в недоверии? Министрство не доверяло директору предприятия, держа его в ежовых рукавицах жесткой опеки; директор, в свою очередь, не доверял бразды управления трудовому коллективу — как бы чего не вышло. Не здесь ли истоки равнодушия, безынициативности? Я не считаю, конечно, парадных, для галочки «инициатив», коими столь богаты были минувшие годы... Причем болезнь эта, как видно из истории, застарелая. Еще в двадцать шестом году Феликс Эдмундович Дзержинский, руководивший тогда народным хозяйством, писал в ВСНХ после поездки по предприятиям Юга о том, что вынес твердое убеждение в непригодности системы управления, базирующейся на всеобщем недоверии, требующей от подчиненных органов всевозможных отчетов, справок, сведений, плодящей бесконечную переписку и волокиту, губящей всякое живое дело... Ведь как будто еще вчера сказано! Надо, считал Дзержинский, круто перевести этот курс на курс доверия. Нельзя, говорил он, управлять промышленностью иначе, как доверяя тем, кому ты сам вручаешь данное дело, уча их и учаю у них... Еще тогда он говорил о необходимости перевода всех заводов на хозрасчет... Дзержинский не успел осуществить перестройку народного хозяйства. Теперь мы, можно сказать, продолжаем начатое им дело, берем на вооружение многие его идеи.

— И в этом деле, надеюсь, нашей опорой будет Закон о государственном предприятии. Конечно, при том условии, что он даст подлинную свободу экономической деятельности предприятий, освободит их от жесткой опеки, то есть если мы на практике, как отмечалось на июньском Пленуме ЦК КПСС, сумеем применить общеправовой принцип: разрешается делать все, что не запрещено законом. Уже сегодня можно привести ряд примеров конкретного участия рабочих в делах производства. Так, в управлении строительства Сургутской ГРЭС-2 два крупных участка работают на коллективном подряде. Здесь практически все решается коллективно — от формирования производственной программы до распределения зарплаты и премий инженерно-техническим работникам. С первого января на коллективном подряде работает трест «Сургуттрансгидромеханизация».

— На предприятиях создаются новые органы самоуправления — советы трудовых коллективов. Но я слышал и такое: «Нас обязали создать совет — мы и создали. А чем он будет заниматься, сами не знаем». Выходит, иногда самоуправление навязывается «сверху»?

— Давайте договоримся: «сверху» или «снизу» — вопрос второй. Первый — как вернуть людям ощущение хозяев на своем предприятии? Ведь право быть хозяином, участвовать в управлении всеми делами больше декларировалось, чем осуществлялось на практике. Когда мы говорим о застойном периоде, то должны помнить, что застой произошел и в сознании людей тоже.

Что касается советов трудовых коллективов, то суть не в том, откуда исходит инициатива. А почему, собственно, и горю не может проявить такую инициативу? Это отнюдь не «указание», как некоторые товарищи решили. Их реакция говорит только о застоявшемся стереотипном мышлении: кто-то сказал — надо бегом исполнять и побыстрей отрапортовать. Действенность советов зависит только от того, как эту идею поймут массы. Помните, у Ленина: идея становится движущей силой, когда овладевает массами. Пока же есть еще и непонимание роли советов, и перегибы. Знаю случаи, когда в состав совета не избирались ни руководитель предприятия, ни секретари партийной и комсомольской организаций, ни председатель профкома. Создавалась некая оппозиция руководству.

— А может, эти товарищи не заслуживали народного доверия?

— Все четверо сразу? Если б даже и так, то тогда честнее было бы сначала ставить вопрос об их переизбрании.

Советы только начинают свою работу. Сама жизнь подскажет наиболее эффективные формы деятельности новых органов самоуправления. Нет готовых теорий, как лучше это сделать, — учиться придется на собственной практике. Метод проб и ошибок, конечно, не лучший метод. Но хуже всего бездействию.

— Недавно в комсомольско-молодежном нефтегазодобывающем управлении «Быстринскнефть» — это одно из лучших предприятий отрасли — объявили конкурс предложений по перестройке системы управления предприятием. Спрашивается, зачем что-то перестраивать, если и так все идет хорошо?

— В системе управления не должно быть застывших форм — она обязана меняться в соответствии с растущими задачами, новыми требованиями. Остановиться сегодня — значит безнадежно отстать завтра. И в «Быстринскнефти» это хорошо понимают.

— Конкурс — не дань ли это моде?

— Чем больше предложений «снизу», тем меньше ошибок «наверху». Перестройка пойдет по всем направлениям.

ям. Это и развитие форм хозрасчета, бригадного подряда, совершенствование организации и оплаты труда, системы планирования, снабжения, а также — подчеркнут это особо — демократизация управления и участие в нем трудовых коллективов. То есть перестройка затронет интересы практически любого человека. Поэтому вполне логично спросить у каждого конкретного работника: что он хочет, какие пути перестройки видит, что предлагает? Нет, конкурс не дань моде, а пример конкретного привлечения людей к управлению предприятием. Кстати, здесь не просто «бросили клич», вывели бумажку с условиями конкурса — специалисты встретились с коллективами всех подразделений, разъяснили основные цели, отметили главные нерешенные проблемы. В конце года комиссия подведет итоги. Для автора — или авторов — лучшего предложения установлен приз: три тысячи рублей. А есть еще вторая, третья, поощрительные премии.

— Николай Григорьевич, с Западной Сибирью «Смену» связывают многие годы сотрудничества. Достаточно сказать, что уже двадцать с лишним лет со страниц журнала не сходит рубрика «Экспедиция «Смены»: Западная Сибирь — люди, проблемы, факты». Известно колоссальное значение вашего края для экономики страны. Но нас всегда привлекали сюда не столько проблемы добычи нефти и газа, сколько сам человек, работающий — простите за избитое сравнение — на переднем крае народного хозяйства. Сотни тысяч молодых людей прошли в Западной Сибири хорошую школу жизни, рабочие университеты. Многие нашли здесь свою судьбу. Многие, но

далеко не все... Об этом, кстати, говорит и очень большая текучесть кадров на Тюменщине. Сколько разочарований, несбывшихся надежд... Мы часто говорим и пишем: времена меняются, что было обычным лет шестьдесят назад — сегодня недопустимо: нельзя осваивать Сибирь на голом энтузиазме. Если первостроителям Комсомольска-на-Амуре приходилось жить в палатках и землянках, то теперь можно и должно обеспечить добровольцам нормальные условия жизни и работы. Все это совершенно справедливо, но... какие-то традиции комсомола нарушены. Крепко усвоив, что о них все должны заботиться, многие приехавшие в область по комсомольским путевкам берут обратный билет при первом же столкновении с реальной жизнью, ее трудностями и неустроенностью. А недавно в Положении о Всесоюзных ударных комсомольских стройках внесен такой пункт: если министерства и ведомства не обеспечивают нормальное снабжение, нормальную организацию труда и быта рабочих, то такая стройка может быть лишена статуса Всесоюзной ударной. Как вы к этому относитесь?

— Я думаю, вполне закономерно право комсомола лишать статуса Всесоюзной ударной те организации, которые не видят или не хотят видеть роли комсомольцев и молодежи в решении экономических и социальных задач. И очень правильно сделал ЦК комсомола, вдвое сократив число Всесоюзных ударных, но зато сконцентрировав силы на новостройках Сибири.

— Когда-то главной привилегией коммуниста, комсомольца было право быть первым — в бою ли, в труде.

Окончание на 23-й стр.



СЕМНАДЦАТИПЕТИИ КОМИССАР

1 Все, о чем будет рассказано сейчас, произошло почти двадцать лет назад. В марте 1968 года из оренбургского села Старогоры в Яворский райком партии пришло письмо на имя первого секретаря Забелова. Письмо было подписано председателем сельсовета Шаховым, директором старогорской школы Дуваниным, и было еще около десятка подписей — старых коммунистов, ветеранов революции, просто жителей села.

Суть письма сводилась к следующему: во время гражданской войны, в начале июля 1918 года (в письме точная дата не указывалась), в Старогорах геройски погиб командир отряда красноармейцев Иван Николаевич Сапожков. В неравном бою с белоказаками Дутова, раненный, он попал в плен, был истерзан на допросах, а потом расстрелян за селом, в балке, поросшей молодыми березками. Было в ту пору красному командиру семнадцать лет. «Захоронен Иван Сапожков», говорилось в письме, — там же, на краю балки. Но могила безымянна, камень на ней, и все. Только старожилы знают, кто под ним лежит. И просьба наша такая: надо вместо голого камня в год пятидесятилетия освобождения Оренбуржья от белых поставить памятник — пусть знают потомки, от вечным сном спит в этой могиле. Просим со всей партийной серьезностью отнестись к нашей просьбе, так как Иван Сапожков родом из Старогор, и в селе проживают его родственники: сестра Мария Николаевна Никитина и двоюродный брат Прокопий Тихонович Сапожков. Кроме того, многие старики помнят Ваню Сапожкова, нашего незабвенного героя».

Письмо взволновало работников райкома партии. Решение было принято быстро...

2

В начале мая в Старогоры приехал молодой скульптор Олег Константинович Зайченко. Среди своих коллег он считался недожинным талантом («Чует время», — говорили о нем), умел работать увлеченно, со вкусом и, главное, быстро.

...Он приехал на попутной машине, слез у сельсовета, сразу вызвав у колхозников, толпившихся на крыльце, любопытство и некоторое недоумение. Олег Константинович был в элегантной мятой куртке, ветер растрепал бородку, сади на джинсах была блямба с изображением ковбоя.

— Здравия желаю, мужики! — сказал скульптор Зайченко, отряхиваясь от дорожной пыли. — Председатель у себя?

Председателя сельсовета Шахова на месте не оказалось, и пионерке Зое Воробьевой поручили проводить приезжего товарища в школу, к директору Владимиру Павловичу Дуванину.

Они шли по главной улице — Зоя немного впереди Олега Константиновича. Скульптор смотрел на одинаковые дома за невысокими заборами, на жидкие палисадники.

«Черт знает что, — думал он. — Ни одного деревца. Или на этой земле сады не растут? — Непонятно отчего стало тоскливо. — Скорее бы здесь все закончить и домой. Вечером Люда звонить будет... И не предупредил».

Зоя Воробьева училась в пятом классе, она была толстенная, в конопушках, с жидкими светлыми косичками, в глазах ее будто стояло по голубой капле с черной точкой в каждой. Зоя шариком катилась впереди Олега Константиновича, оставляя в мягкой пыли ровные следы. Наконец, она спросила:

— Дяденька, а вы кто?

— Я? — Олег Константинович нахмурил брови. («Это он понарошку», — догадалась Зоя, потому что у скульптора Зайченко был в общем-то добрый и рассеянный вид.) — Я наблюдатель грехов людских, — сказал он, и ему стало весело.

Зоя хмыкнула для приличия, но дальше спрашивать не стала.

Школа стояла на краю села, новая, двухэтажная. Директор школы был на месте. Владимир Павлович оказался совсем еще молодым человеком — очень подвижным, быстрым, с круглым лицом, он все улыбался, от него исходило флюиды здоровья и бодрости.

— Давно вас ждем, — не без труда победив удивление, вызванное не совсем обычным видом скульптора, обрадованно говорил он, — сроки. Хотелось бы торжества в июле провести. Как раз в июле, тогда, в восемнадцатом, здесь все это произошло...

— Мне бы, — перебил Олег Константинович, — поподробней: как погиб, как все... Может быть, очевидцы есть?

— Я, понимаете ли, не совсем в курсе, — сказал Владимир Павлович. — Только год здесь, после распределения. Прямо не знаю, чем вам помочь. Вряд ли конкретное узнать можно. Сами посудите, пятьдесят лет прошло. Фотографий в ту пору в этих краях не было, писем или там каких мемуаров не писали. — Владимир Павлович засмеялся.

— Вот родственники его живы, — Олег Константинович заглянул в блокнот, — Прокопий Тихонович Сапожков, сестра Мария Николаевна...

— Сапожкова нет. — Директор школы нахмурился. — Непутевый старик, скажу вам. Плотник первый на селе, не смотрите что за семьдесят. А в колхозе работать не хочет.

— А Мария Николаевна? — спросил Зайченко. — Никитина?..

— Она здесь, — сказал Владимир Павлович, — совсем большая женщина. Одна живет. Три сына по городам разлетелись.

— Сколько ей лет?

— Не могу точно сказать. За шестьдесят наверняка. Странная какая-то старуха: нелюдимая, молчаливая. — Тут директор школы вскочил, засуетился. — Что-то я вас все разговорами да разговорами. Вы ведь с дороги. Пойдемте ко мне? Перекусим.

— Нет, спасибо, — сказал Олег Константинович. — Я на станции позавтракал. — Его почему-то раздражал директор школы. — Вы меня к этой Марии Николаевне проводите?

— Разумеется. — Владимир Павлович вроде бы обиделся.

Они вышли на улицу. Был уже день, солнце било в глаза. Олег Константинович вдохнул запах весенней степи, увидел за околицей села линию невысоких холмов, за которую уходило синее-синее небо, и сердце забилось чаще, он сказал возбужденно:

— Хорошо тут у вас!

Директор школы посмотрел на него с удивлением.

Они прошли боковой узкой улицей, на которой после весенних дождей кое-где не просохли еще лужи, и в них отражалось небо. Улица постепенно спускалась вниз, к балке, которая виднелась впереди зеленым кружевным редколесьем, покрывшим склон. Молчали.

— Вот здесь она живет, — сказал, наконец, Владимир Павлович.

Дом был почти в конце улицы — всего несколько дворов оставалось до балки. Не дом — ветхая изба: сруб осел, покосился набок, одно окно было наглухо забито ставнями, на крыше во многих местах прогнила деревянная дранка. На стук никто не откликнулся, и, пройдя через сени, они оказались в комнате.

— Мария Николаевна, — негромко позвал Владимир Павлович. Стало слышно, как в тишине тикают ходики. — Нету, — сказал он огорченно. — Может, в огороде. Сейчас посмотрю. — Он вышел.

Олег Константинович сел на лавку у стены, стал разглядывать комнату. Темные стены были голы, только в правом углу — икона, такая старая, что еле-еле просматривался суровый лик с неясным ободком нимба. Перед иконой теплилась лампадка. И еще ходики у двери. Они четко, сурово как-то, отсчитывали секунды.

Скульптору Зайченко стало не по себе, непонятный

страх (или тревога? или беспокойство?) шевельнулся в душе. Захотелось поскорее выйти, не слышать тикающих часов в тишине.

В сенях послышалось движение, скрипнула дверь. Сначала вошел Владимир Павлович и за ним старая женщина, очень сухая, высокая, на ней болтался заношенный ватник, шерстяной платок был повязан низко на лоб, из-под него выбились седые волосы. Зайченко встретил настороженный, неприветливый взгляд, отметил про себя, что черты этого темного лица выразительны, неповторимы — все резко, угловато, а жесткая складка рта выдает тяжелый, может быть, властный характер.

— Вот, Мария Николаевна, — суетливо и с непонятным раздражением заговорил директор школы. — Вам председатель сельсовета разъяснил: надо товарищу все рассказать подробно, что помните о своем брате, о его гибели. — Старуха резко вскинула голову, и Владимир Павлович слегка смутился под ее взглядом. «И глаза у нее молодые, — подумал Зайченко. — Не замутненные временем...» — Он будет делать памятник на могиле вашего брата. Вы же заинтересованное лицо. Может, потом пенсию прибавят.

— Легко всем приказывать, — сказала Мария Николаевна, и было видно, что слова директора школы о пенсии ее совсем не задела. — Не помню, считайте, ничего. Когда было-то! Былему поросло... — Она говорила тихо, и все-таки в голосе слышалось волнение. Сухие пальцы перебирали складки платья. — Ну, привели они его...

— Кто они? — перебил Олег Константинович.

— Кто?.. Казаки... Скульптор заметил, как вздрогнули ее плечи. — Да как привели? Приволокли. Не мог он идти, плечо было прострелено. Бросили вот здесь, у печи.

— Все произошло в этой избе? — спросил Олег Константинович.

— Да...

И стало тихо. В тишине четко стучали ходики.

— Начали его бить. Спрашивали что-то. Не помню, что.

— А вы... Вы все видели?

— Нет! Нет! — выкрикнула Мария Николаевна. — На печи я сидела. Забилась в угол. Мне тогда было сколько? Тринадцать лет. Или четырнадцать...

— А еще кто был? Кроме казаков?

— Мать, — тихо сказала Мария Николаевна. И добавила спокойно: — Больше ничего не могу вам рассказать. Забыла.

— А как тогда выглядел ваш брат?

— Когда? Когда они его шомполами? И спички в ноздри?

— Нет... — Олег Константинович почувствовал, что лицо покрывает испарина. — Вообще... в ту пору.

— А... — Мария Николаевна, похоже, с облегчением вздохнула. — Какой мог быть взгляд? Мальчишка, считайте. Голос ломался, то басом, то петухом. Сухонький такой, углы да кости. Ну, шапку военную носил. Со звездочкой. Шлем вроде бы, с ушами длинными... Очень она ему шла, — сказала Мария Николаевна и вдруг подавилась слезами. — Не могу больше... Не обессудьте.

Олег Константинович быстро встал с лавки.

— Простите, Мария Николаевна. Спасибо.

Они вышли из избы и, когда проходили мимо окна, услышали глухие рыдания.

— Я вам говорил: странная старуха, — уже на улице сказал Владимир Павлович. — Разве от нее что узнаешь?

— Я бы хотел взглянуть на могилу, — сказал Зайченко.

— Пожалуйста. Это рядом. Вот она, балка.

Они прошли мимо последних дворов и очутились на краю балки, неглубокой, поросшей березами и ольхой. Противоположный склон заливала яркая красная краска.

— Маки, — сказал Владимир Павлович. — До первой жары.

Игорь МИНУТКО



По красному разливу маков гулял ветер и бежали живые красные волны. Олег Константинович не мог оторвать от них взгляда.

«Как опущенные на землю знамена,— подумал он.— Или... не знаю. В этом есть что-то от того времени». Они шли по склону балки, который незаметно поднимался вверх.

— Вот она,— сказал директор школы. Могила была старательно обкопана и обложена деревом, на ней лежала гранитная глыба, своими формами отдаленно напоминающая буденовку. Впрочем, возможно, это сходство «увидел» только скульптор Зайченко.

«Хорошее место,— подумал Олег Константинович.— Все село на виду. На втором плане деревья. Сквозь них степь, сейчас красная от маков. А зимой белая. Синее небо. Ветер. Простор.— Сердце забилось чаще.— Нужен темный гранит».

И тут из зарослей ольхи вышел старик, очень крепкий, в аккуратной одежде, с лицом, пожалуй, благородным, если бы не настороженные глаза, в которых что-то пряталось и таилось.

— Здравствуйте,— сказал старик, снимая кепку с седой головы.— Зря вы это, зря!— заспешил он.— Чего прошлое ворошить?

— Что зря?— не понял Олег Константинович. Старик продолжал быстро, давясь словами: — Эта еще неизвестно, кто под камнем-то: Ванька или кто другой. Может, белого офицера закопали, а вы — памятник.

— Ты что, дед, мелешь?— зло перебил его Владимир Павлович.— Пьяный, что ли? Ты что мелешь, я тебя спрашиваю?

Старик испугался, попятился, вроде хотел еще что-то сказать, но надел шапку и, в сердцах махнув рукой, зашагал по тропинке к селу. В его крепкой спине скульптору Зайченко увиделось что-то непримиримое, затаенное, страшное...

— Кто это?— почему-то шепотом спросил он. — Не знаю,— сердито сказал директор школы.— Видел в селе, а кто — не знаю. Но я еще справки наведу.

Они возвращались в село молча. На душе у Олега Константиновича было смутно и неопределенно. Как будто тебе на незнакомом языке сказали фразу, от которой зависит твоя жизнь или успех в жизни, а смысл фразы непонятен, и некому перевести.

Из-за угла показался запыленный «газик». — Председательский,— сказал Владимир Павлович.— Видно, сам за нами.

Действительно, «газик» затормозил около них, из него тяжело выпрыгнул старый человек в киле, сапогах, в выцветшем офицерском кителе, лицо его было обветрено, обожжено солнцем, брови выгорели.

«Тоже старик,— подумал скульптор Зайченко.— Везет мне сегодня на стариков и старух. Устал он. Глаза усталые».

— Иван Алексеевич Шахов, председатель сельсовета.— Пожатие руки его было крепким и быстрым.— Я за вами. А ты, Владимир Павлович, вечером ко мне зайди. Разговор есть.

Владимир Павлович тут же сухо попрощался с Олегом Константиновичем и зашагал к школе, слегка покачивая полным задом.

— Уже третий час,— сказал Иван Алексеевич,— поедем ко мне, пообедаем, за столом и потолкуем. Они обедали на застекленной террасе, очень просторной и прохладной, подавала им молчаливая женщина, уютная, чистенькая, с пухлыми руками.

— Так что же вам поведала Мария Николаевна?— спросил председатель сельсовета, смазывая кусок сала горчицей.

Олег Константинович рассказал о посещении дома Никитиной, об их коротком разговоре.

— Значит, ничего не рассказала, не захотела.— Иван Алексеевич откинулся на спинку стула.— Не захотела... Жаль.

— А что она могла бы рассказать? — Многое. Но за нее я вам рассказать не могу. Не имею права. Слово дал. И, пожалуй, это вам просто ни к чему.

— Да, еще одно!— Олег Константинович вспомнил о старике у могилы, о его непонятных словах.

Тут же в дверь заглянула старая женщина, сказала:

— Бобров, не иначе.— И исчезла.

— Да, да...— Иван Алексеевич помолчал.— Значит, зашелся... Григорий Фомич Бобров. Наш, старогорский. Живет на иждивении сына. А сын — директор маслодельного завода, уважаемый человек. Вот какие дела. И опять выходит, что ничего я вам рассказать не могу о Григории Фомиче Боброве. Раз Мария промолчала. А что в могиле не Ваня Сапожков, кто-то другой, не верьте. Семь лет назад один за другим умерли два старика — они его хоронили.

— А вы Сапожкова знали?— спросил Олег Константинович.

— Конечно, знал!— восторженно воскликнул Иван Алексеевич, и стало видно, как его обрадовало то обстоятельство, что разговор переменялся.— Ваню многие старики помнят: с ним по улицам пацанами бегали. Мы же с Сапожковым одногодки. Он из бедняков, я из бедняков. Вместе ушли в Красную Армию, попали в Оренбург. Иван быстро выдвинулся — он был рожден для революции, для действия. Убежден: вырос бы из него выдающийся военачальник. Сам товарищ Кобышев, чрезвычайный комиссар по борьбе с дувовщиной, подписывал приказ о его назначении командиром над целым отрядом. Вы только вдумайтесь: мальчишка семнадцати лет и уже командует отрядом в двести пятьдесят штыков! Когда Дутов захватил Оренбург, наши судьбы разошлись: я попал в кавалерию. Отступали к Актобинску. Ох, времечко было! А отряд Ивана Сапожкова на одной из дорог прикрывал отступление. Все бы, наверно, обошлось, да дернула его в Старогоры завернуть, мать и сестру повидать захотел. Отца еще в германскую на фронте убило. И нарвались на засаду — были тут к нему старые счеты...— Иван Алексеевич помолчал.— Кое у кого. Выследили, донесли... Все Старогоры казаками набиты, а их человек

сто осталось. В балке своего командира отряд ждал, когда он ночью к дому пошел. Услышали перестрелку, побежали на выручку. Не знаю подробностей боя. Ушли наши почти все. А Ванюшку они взяли раненого, у них же в огороде. Допрашивали в избе на глазах матери и сестры. Двое суток. Потом расстреляли на краю балки. И приказ под угрозой смерти — не хоронить. Только скоронили односельчане. Ночью. Там же, на месте расстрела. Я все это узнал, когда с гражданской вернулся.

«Что он мне не хочет рассказать и почему?» — думал скульптор Зайченко.

Они говорили долго. Иван Алексеевич старался воскресить в памяти облик Ивана Саложкова, получалось не очень: буденовка, стремительный шаг, мальчишеский голос, карие отчаянные глаза.

Уже поздно вечером, прощаясь с Олегом Константиновичем у «газика», который должен был отвезти скульптора на станцию, Иван Алексеевич сказал:

— Вот откроем ему памятник, и уйду на пенсию. Со спокойной совестью. Вы уж постарайтесь.

Олег Константинович уезжал из Старогор с чувством глубокого неудовлетворения. Он не мог разобраться в своих чувствах, поэтому на душе было скверно.

3

...Скульптор Зайченко сделал три макета, все в разных стилях. Один ему, пожалуй, даже нравился: из необработанной глыбы вырастает суровый, аскетический профиль мальчишки в буденовке, голова упала на плечо, резкая мученическая складка у рта — мальчишка смертельно ранен, мальчишка умирает. Внизу будут выбиты слова — имя, отчество, фамилия и годы жизни.

Этот макет и выбрала комиссия. Приехали Владимир Павлович и Иван Алексеевич — им тоже понравился именно этот вариант. Председатель сельсовета даже сказал задумчиво: «Похоже...»

В мастерскую, где работал Зайченко, привезли глыбу темного гранита, выделили Олегу Константиновичу двух мастеров от артели, в которой изготавливали сувениры из яшмы.

Работали много, с утра до позднего вечера, сам он иногда оставался в мастерской на ночь. И, видя, как из куска бесформенного гранита рождается его замысел, скульптор Зайченко поймал себя на том, что опять испытывает беспокойство, непонятную тревогу — будто он виноват перед кем-то.

Он стал раздражительным, его теперь тяготили компании, он искал одиночества. Начала мучить бессонница. Так с ним раньше никогда не бывало.

Наконец, все сделано. Из Старогор пришла машина. Памятник, аккуратно завернутый в мешковину и обшитый досками, погрузили в кузов и увезли.

Скоро скульптор получил официальное приглашение на торжество в Старогорах: «Открытие памятника на могиле И. Н. Саложкова состоится 12 июля 1968 года в 16 часов».

4

Он приехал в начале третьего и застал село взбудораженным и праздничным: на сельсовете, на магазине «Спутник», на многих домах трепетали красные флаги. Кучками стояли люди, громко разговаривая. Прямо на площади бойко торговали буфеты, и перед ними толпились женщины и дети, нарядно одетые. День стоял солнечный, ветреный, уже чувствовалась жара.

В кабинете председателя сельсовета Шахова битком народу, накурено, суета и оживление. Когда Олег Константинович вошел в кабинет, его сразу и не заметили. В этот момент директор школы Владимир Павлович, в новом черном костюме, при галстуке, возбужденный, потный, с порезами от бритвы на красных щеках, говорил, заглядывая в бумажку:

— Значит, я открываю митинг. Оркестр исполняет Государственный гимн. Потом передаю микрофон секретарю райкома партии товарищу Забелову. Он произносит речь. Передаем товарищу Забелову ножницы, он перерезает ленту. Взором собравшихся предстанет памятник. Потом еще четверо выступающих по списку. — Директор школы взглянул на Ивана Алексеевича и спросил, показав Зайченко, с раздражением: — Так вы будете говорить? Неудобно как-то: председатель сельсовета...

— Посмотрю, — перебил Иван Алексеевич. — Ты меня по своему списку не объявляй. Решу выступить, сам возьму слово. — Лицо председателя сельсовета осунулось, было мурным и беспредельно усталым. — Ну, а дальше как?

— Что же дальше, — уже не скрывая раздражения, сказал Владимир Павлович. — После речей оркестр и школьный хор исполнят «Интернационал», возложим венки на могилу. Потом всех желающих поведем в клуб, бесплатно фильм... Народ в клуб, а почетных гостей приглашаем на банкет. Как у вас, Николай Петрович, все готово?

— Да вроде все, — сказал худощавый всклокоченный человек в мятом парусиновом костюме. Это был,

как потом узнал Зайченко, председатель колхоза «Авангард». — Сейчас пойду проверю. Мы столы в правлении накрываем. Примерно на тридцать персон.

— Ладно! — Иван Алексеевич резко рубанул воздух рукой. И стало тихо. — Банкет — дело второе. Как с оркестром, и когда обещал приехать Забелов?

— Оркестр: как вы знаете, из района, — сказал директор. — Раз своего нет. Прибудет вместе с Кондратом Васильевичем Забеловым. Уже звонил: ждите, было сказано, в пятнадцать часов. — Директор школы помолчал немного. — Я в школу. Еще с пионерами порепетирую. — Владимир Павлович повернулся к двери, увидел Зайченко. — А! Вот и вы! Здравствуй-те!

С Олегом Константиновичем стали почтительно здороваться за руку. Потом все вышли на улицу.

Олег Константинович стоял рядом с председателем сельсовета, который кого-то искал взглядом в толпе у буфетов. К ним, запыхавшись, подбежал молодой парень в светлой тенниске, расpiraемой широкой гарью.

— Иван Алексеевич! — обрадованно сказал он. — Двое приехали: дядя Егор и дядя Семен. Только что. Гостицы ей выкладывают. На такси прямо к избе подкатили!

— Хорошо, очень хорошо! — тоже обрадовался Иван Алексеевич и объяснил Олегу Константиновичу: — Два сына Марии Николаевны приехали. Один-то тут рядом, из Новотроицка, Егор, а Семен из Киева прилетел. Молодец! Сам их сейчас пойду приглашу. — Он хотел еще что-то сказать, но оборвал себя на полуслове. От буфета к ним шел, слегка покачиваясь, старик, очень неряшливый, с лысым черепом, с застывшей, неестественной какой-то улыбкой на маленьком сухом лице. — Ах, ты! — только и сказал председатель сельсовета и заспешил к старику навстречу.

— Я, Алексеевич, самую малость, — виновато, торопясь, заговорил старик. — Для храбрости... Прямо не знаю, Алексеевич... Не могу я, сил нет. — Он еще говорил что-то, но уже не было слышно: председатель сельсовета сильно, со злостью взял старика под руку и повел его прочь от толпы.

— Кто это? — спросил Олег Константинович у секретаря колхозной комсомольской организации Ильи Капустина.

— А! Дед Афанасий, — пренебрежительно сказал Илья. — У нас его Афонькой кличут. Придурковатый. С утра только и промышляет, чтобы где выпить, потом слюни распустит и ходит по селу.

Все разошлись по своим делам, и Олег Константинович остался один, предоставляя самому себе.

У сельсовета остановилась черная «Волга», вслед за ней приехала пятитонка, из ее кузова стали прыгать ребята, передавая друг другу духовые музыкальные инструменты.

Из «Волги» устало вылез грузный человек, смуглый, с коротко подстриженными темными волосами, в ладном бежевом костюме, галстук был заколот брошкой, в которой на солнце блеснул камень, и такие же камни были в запонках, плотно сжимавших тугие манжеты белой рубашки. Скульптор догадался, что это секретарь райкома партии Забелов. Олег Константинович, привыкший наблюдать людей, отметил, что в облике секретаря есть что-то спортивное, сильное.

Олег Константинович подошел к «Волге», и Иван Алексеевич представил его секретарю райкома.

— Очень рад, — сказал Кондрат Васильевич. Рука у него была сильная, с короткими пальцами. Олег Константинович встретил колючий взгляд и вспомнил, что уже видел Забелова: он тоже был членом комиссии, которая утверждала макет памятника. Только тогда он был как-то по-другому одет, ничем не выделялся и, кажется, ничего не говорил. — Макет мне понравился. Посмотрим, каков оригинал.

— Что же, товарищи, — сказал Иван Алексеевич, — зайдем ко мне и окончательно все определим.

В кабинете Шахова Кондрат Васильевич сел за председательский стол и спросил:

— Ну, кто тут у вас командует парадом? Докладывайте.

Кое-кто деликатно хохотнул, а директор школы Владимир Павлович, еще более красный от волнения и понимания ответственности момента, совсем мокрый, стал четко, по-военному докладывать, как должен проходить митинг. Секретарь райкома партии, взглянув на часы, сказал:

— Пора! Без двадцати четыре.

5

Пологий берег балки был запружен народом. Олег Константинович никак не предполагал, что соберется столько людей: тесно стояли по бокам могилы, на которой возвышался памятник, закутанный белым покрывалом. Сгрудились у трибуны, остро пахнущей свежим тесом. Мальчишки облепили березы, и деревья гнулись под их тяжестью. Над толпой плыл невнятный тихий гул голосов, чувствовалось ожидание. Медными трубами сверкал оркестр, и оркестранты, все больше молодые ребята, громко переговарива-

лись. Рядом с оркестром стоял школьный хор — мальчики в белых рубашках и черных брюках и девочки в белых блузках и синих юбках, все с красными галстуками. Около хора суетилась молодая женщина в очках, преподаватель пения. Возле памятника, по бокам, стояли два пионера, мальчик и девочка. Девочкой была Зоя Воробьева. Она узнала Олега Константиновича, обрадовалась, во все глаза смотрела на него, улыбалась — ей очень хотелось, чтобы веселый дяденька-скульптор посмотрел на нее. Но Зайченко был занят другим: он вглядывался в лица людей и стал постепенно замечать, что люди собрались разные, вернее, пришли сюда с разным настроением — на одних лицах беспокойство или безразличие, на других — суровая сосредоточенность, на третьих — тревога. Вроде бы что-то разделяло толпу.

Во главе с Кондратом Васильевичем стали подниматься на трибуну. Директор школы подошел к микрофону. «Только бы не сбиться...» — подумал он, чувствуя, как по спине ползет струйка пота. Он взглянул в сторону оркестра, и ему кивнул дирижер, парень с лохматой черной головой: все, мол, готово. Владимир Павлович щелкнул ногтем по микрофону, звук, во сто крат усиленный, прокатился над головами людей. Постепенно стало тихо.

— Товарищи! — сказал в тишине директор школы. — Разрешите митинг, посвященный открытию памятника на могиле нашего земляка, героя гражданской войны Ивана Николаевича Саложкова, считать открытым!

Аплодисменты заглушил Гимн Советского Союза. Толпа замерла, взметнулись над головами детские руки в пионерском салюте.

Звучал гимн, и Владимир Павлович думал: «Достать шаргалку или нет? А вдруг собьются?»

За носок Зои Воробьевой залезла букашка, ползала там, и Зоя, морщась, думала: «У, противная», — но не шевельнулась.

Олег Константинович проследил взгляд Ивана Алексеевича — председатель сельсовета смотрел на Марию Николаевну Никитину. Скульптор Зайченко сразу же узнал ее: сестра Ивана Саложкова была в новом темном платье, которое сидело на ней угловато, неладно, седая голова не покрыта, лицо, иссеченное морщинами, было напряженным, замкнутым. Рядом с ней стояли двое мужчин, по-городскому одетые. «Сыновья, — понял Зайченко. И возникла неожиданная мысль: — О чем думает Иван Алексеевич? Ведь ждет он чего-то».

Председатель сельсовета думал: «Как это не уговорили Марию на трибуну подняться? Мне нужно было. Легче бы тогда...» — Теперь его взгляд побежал по лицам людей. — Не видно... Неужели не придет? Должен, должен прийти...»

Еще рядом с Марией Николаевной стоял старик, очень высокий, худой, заросший. Это был двоюродный брат Ивана Саложкова Прокопий Тихонович Саложков. Он приехал из Оренбурга специально на митинг, бросив артель и спешную работу. Слушая гимн, Прокопий Тихонович думал: «Теперь все. Раз братильнику такая честь, — не отстанут. Не покальмишь на стороне. В колхоз загонят топором за копейки махать».

Оркестр смолк, и опять заговорил Владимир Павлович:

— Мы долго ждали этот торжественный день. И вот он пришел. Старогорцы чтят память...

Он говорил еще несколько минут плавно и гладко, но вдруг сбился, заерзал, полез в карманы пиджака, вынул бумажку, развернул ее. В толпе засмеялись.

— И вот, видите ли... — По круглому красному лицу Владимира Павловича ползли капли пота: он никак не мог найти нужное место в шаргалке. И поэтому вдруг сказал: — Почетное право снять с памятника... — Опять он забыл нужное слово и с ужасом сказал: — ...мантию представляется секретарю райкома партии Кондрату Васильевичу Забелову!

Послышались аплодисменты. Сзади трибуны сделалось какое-то движение, и девушка в русском национальном костюме (затем Владимира Павловича) на атласной подушке подала секретарю райкома ножницы. Кондрат Васильевич стал спускаться к памятнику, а к трибуне подбежал дирижер оркестра:

— Чего играть-то?

— Не знаю... — зашептал вконец расстроившийся Владимир Павлович, — играйте какой-нибудь марш.

Кондрат Васильевич перерезал ленту. Медленно сползло вниз покрывало. Упала мгновенная тишина. Все смотрели на памятник: из глыбы темного гранита поднималась голова мальчишки в буденовке, поникшая на плечо. Внизу было выбито золотом: «Красный командир Иван Николаевич Саложков. 1901—1918». Зоя Воробьева и мальчик с другой стороны могилы застыли в пионерском салюте. Оркестр заиграл «Вихри враждебные веют над нами».

И первое волнение всколыхнуло толпу.

Олег Константинович посмотрел на Марию Николаевну — по ее морщинистому лицу текли слезы, и она не вытирала их.

К микрофону подошел Кондрат Васильевич, свою речь он читал по бумажке. Постепенно люди внизу задвигались, в последних рядах стали переговариваться.

Выступали другие: секретарь колхозной комсомольской организации Илья Капустин, восьмиклассница Нина Федотова, ветеран гражданской войны Иван Тихонович Соловейчик.

В толпе стало скучно — разговаривали, переходили с места на место, кое-где посмеивались. Но все шло по задуманному плану, и Владимир Павлович постепенно успокоился: «Ничего. Все, как у людей. Я вот немного сбился. Незадача, видите ли».

Заканчивал речь последний оратор, председатель колхоза «Авангард» Николай Петрович, — бумажка в руке подрагивала.

И в это время Олег Константинович заметил непонятное движение — от группы людей, как бы отодвинувшись немного, раздалась толпа и образовалось между этой группой и остальными небольшое пустое пространство.

— Пришел! — сказал рядом со скульптором Иван Алексеевич Шахов, сказал так, будто непомерный груз упал с его плеч.

Олег Константинович сразу узнал его: в той маленькой группе людей стоял старик в аккуратной одежде, крепкий, широкоплечий, только лицо его сейчас не было благородным — что-то в нем сместилось, нарушило правильные пропорции, и лицо стало темным, враждебным и затравленным. Да, это он тогда, в мае, у могилы, вынырнув из зарослей ольхи, сказал скульптору Зайченко странные слова: «Зря это вы, зря! Чего прошлое ворошить?» Это был Григорий Фомич Бобров. Рядом с ним стоял полный, тоже крепкий мужчина, чем-то неуловимым, но точным похожий на Боброва, было тут еще несколько мужчин, парней, женщин.

Теперь многие смотрели на этих людей, а Бобров, не мигая, смотрел на могилу Ивана Сапожкова, на памятник.

— ...Мы никогда не забудем нашего дорогого героя, — закончил председатель колхоза. — Память о нем вечно будет жить в сердцах поколений!

Неожиданно стало совсем тихо. Слышно было только, как ветер шумит в березах.

— Давай «Интернационал!» — шепнул Владимир Павлович в сторону оркестра.

Дирижер, кудлатый парень, уже вознес руки над головой, чтобы дать сигнал своей музыкальной команде, но его опередил председатель сельсовета:

— Погоди, сынок, погоди немножко... — Иван Алексеевич подошел к микрофону, и теперь его голос загрел над толпой: — Еще не пришел черед «Интернационалу»... Есть и у меня слово на могиле друга моего незабвенного Вани Сапожкова.

И увидел скульптор Зайченко, что налились глаза председателя сельсовета гневом, яростью, слезами, мукой невыносимой и еще бог знает чем. Страшно было смотреть в эти глаза...

6

— ...Все мы здесь собрались с одним помыслом, — говорил в тишине Иван Алексеевич Шахов, — почтить память нашего героя. Все, да не все... Скажи мне: зачем ты сюда пришел, ты, Бобров Григорий Фомич? — Будто ветром кольнуло толпу, невнятный рокот покатился над головами, и головы были повернуты в одну сторону — в сторону старика в аккуратной одежде. — Зачем пришел на торжество наше? Или и твой это праздник тоже? Или нет на твоих руках крови Ивана Сапожкова?

Толпа снова качнуло, загудела она, зарокотала. А Бобров попятился, как от удара, шатнулся в сторону, шатнулся и замер, будто в недоумении. Закричал полный мужчина, стоявший рядом с Бобровым:

— Клевета! Сплетнями пользуешься, Иван Алексеевич! По-партийному ответишь!

— Зря на человека наговаривают!

— Где доказательства?

Толпа гудела.

Опять заговорил Иван Алексеевич. Затаили дыханье люди.

— По-партийному тебе отвечать, Николай Григорьевич! — Повернулся председатель к Никитине. — Ну, Мария, иди, скажи людям... Неужто промолчишь в этот судный день, Мария? — И мольба была в голосе Ивана Алексеевича. — Иди! И знай: чистой останешься перед нами твоя мать в нашей памяти. Иди, Мария! Иди...

Мария Николаевна Никитина отделилась от своих сыновей, пошла к трибуне, пошла неверными шагами, как лунатик. Но потом все тверже, тверже. Подхватили ее сильные руки и подвели к микрофону.

Было мертвенно-бледно лицо, будто медными стали морщины, но глаза были полны живой, горячей силы, побежал их взгляд по замершим лицам и остановился на Григории Фомиче Боброве.

— Он повинник! — прокатился и над балкой, и над могилой, и ушел в степь яростный голос Марии Николаевны. — Он повинник и в муках Вани, и в смерти! Вздохнула толпа и замерла. И тишина была такая, что каждый слышал удары своего сердца.

— Говори, Мария, говори!

— ...Ночью тогда пришел Ваня, тихо так в оконце стукнул. Двое нас дома было: мама и я. Худой он, глаза большие. Вбежал. «Попрощаться», — говорит. Мы плакали, страх — казаки в селе. Рядом, у Вихровых, офицеры стоят. А Ваня ест чего-то быстро, мама ему собрала, спешит. «Ничего, — успокаивает, — скоро вернемся...» — Прервался голос Марии Николаевны, и разнес микрофон ее дыхание. — И тут стрельбы по улице, крики. Потом грохот в дверь. Мама обомлела и шелохнуться не может. А Ваня метнулся к окну, вышиб плечом раму. «Уйдем! — говорит. — У нас кони за огородом!» Канул в темь. Тут дверь они вышибли, и первым в избу вбежал он... он, Гришка Бобров!

— Врешь ты все, врешь! — закричал Григорий Фомич Бобров. — Не было меня там! Со зла клеветал!

— Не было? Не было тебя? — Мария Николаевна задохнулась и не могла говорить несколько мгновений.

И в эти несколько мгновений скульптор Зайченко увидел вокруг себя самые разные лица — растерянное у Владимира Павловича, сосредоточенное у Кондрата Васильевича, полное ожидания и мстительности у Ивана Алексеевича. — Нет, ты был, Гришка, был...

Заглянул в погреб, крикнул казакам, по избе они шастали: «Не уйдет далеко. Коней мы взяли». И побежал ты первый в огород. Опять стрельба. А потом...

Потом приволокли они Ванечку... А у него плечо прострелено, на ногах не стоит, бросили в угол. Было вас четверо. Три офицера и ты... Ты! Буфтыль самогону принесли. И ты, Гришка Бобров, сел напротив Вани, табурет под себя, еще в салагох был хромовых, блестящих они. И сказал: «Посчитаемся, комиссар!»

Взял шомпол и первый ударил Ваню... По раненому плечу. — Грозный рокот прокатился по толпе. — Мама забила, бросилась к Ване. Ее за руки офицеры оттащили. Стали вы его по очереди бить. И по спине, и по лицу.

Левый глаз вытек. Уж не помню — на печку я забила. Вроде как рассудок померк. Только слышу: горельный пахнет. Глянула, а они Ване в ноздри спички, сапоги стащили, между пальцев бумагу поджигают.

А он бьется, кричит страшно, как зверь. Мама без памяти у двери валется... Мария Николаевна замолчала, проглотила комок в горле. И слышно было, как в толпе плачут женщины. — Умолк он. Кто-то из них сказал: «Без сознания, голубчик». И тогда ты, Гришка, ты сказал: «Может, звезду на спине?»

Только не стали больше мучить, уволокли в сарай, всю ночь самогон пили, песни орала. А утром... Утром...

— Все ты врешь! — дико закричал Григорий Фомич Бобров. — Врешь, ведьма! — Голос его потонул в рокоте толпы. И было в этом рокоте недоброе.

— А утром... Мгновенно упала тишина. — Принесли они Ваню из сарая. Страшный он был, в крови, истерзанный, только один глаз на белом лице светился. «Раз тронь — душа вознесется», — сказал один офицер. Помню его, навсегда в памяти: высокий, лицо длинное, чистое, красивый... И сказал он: «А мамаша-то героя ничего, молодая». И... Сухие морщинистые руки Марии Николаевны взлетели к лицу, замерли на нем, запутались пальцы в седых волосах. — Схватили они ее, сорвали платье и сильничали... Все. А она... только кричала: «Не смотри, сынок!» Ваня крутился в углу, стонал, а подняться не мог. Дальше не помню... Забилась опять на печь. Только слышала, сказал один из них: «Вытаскивай в сарай, а ночью кончат будем». Унесли Ваню. Тихо стало. Мама под образами лежит. Вроде и не она. Смотрит на меня, глаза остановились, будто стеклянные... («В той избе, в той...» — подумал в этот момент скульптор Зайченко.) И тут ты... ты, Гриша, подошел к печи, за косу меня притянул. Помню глаза твои безумные, кровью налитые, сивухой разлило... И сказал: «Про меня кому скажешь — ославлю мать на все село и дале. И ей передай: молчите лучше». Пятьдесят лет молчала...

Мария Николаевна опустила руки от лица, шагнула от микрофона, пошатнулась. Ее подхватили под руки. Тихо было. Даже ветер, казалось, присмирел. Молчали березы. Молчала степь. Разорвал тишину голос Николая Григорьевича, сына старика Боброва:

— Клевета! Все знают — умом тронутая Никитина! Кто еще подтвердит, где свидетели? Я — в суд!

Ропотом наполнилась толпа, движение родилось в ней, и увидел Олег Константинович, что медленно надвигаются люди на Боброва и тех, кто стоит рядом с ним. Но подошел к микрофону Иван Алексеевич — замерла толпа, мгновенно умолкла.

— Еще свидетели нужны тебе, Николай Григорьевич? — тихо, почти шепотом спросил председатель сельсовета, и шепот попыток над толпой. — Ты ведь, наверно, не знаешь, как расстреливал твой отец Ивана Сапожкова? Не знаешь? — Тихо было. И в тишине зрела гроза. — Ну, где ты, Афанасий Воронцов? Или не скажешь народу? Унесешь грех в могилу?

В последних рядах задвигались, люди расступились, в толпе у трибуны образовалась пустой круг. И в него вышел старик с лысым черепом, со страхом и решимостью на сухом маленьком лице. («Афонькой кличут», — вспомнил скульптор Зайченко.) Дед Афанасий пометался в круг и рухнул на колени.

— Люди! Грешен! — закричал он. И не нужно было микрофона. Пронзительным и сильным оказался го-

лос у деда Афанасия. — Мальчишка был, несмышляк... Пришли они в избу... А мы-то что? Голь перекачаная, мал мала меньше. Животы от голоду подвело. Офицер такой... весь сверкает... «Иди, Афанасий, грит, к нам. Вот тебе рупь золотой в задаток, а стрелять научишься — десять пудов зерна отвалим». Мать в спину толкает: «Иди!» Пошел, ружье дали. Стрелять враз научился. Какая там премудрость — стрелять... — Дед Афанасий ползал на коленях по кругу, а круг все сужался — напирала сзади. — Ночью опять стук. Тот офицер. «Первое тебе испытание, — грит. — Бери ружье». И привели сюда. — Он вскопал и побежал к могиле; перед ним расступились. Дед Афанасий остановился у памятника. — Тута дубок рос. А к нему Ванька Сапожков привязанный. У офицеров в руках фонари. Но и так видать было: заря уже зажглась. Без сил он, в крови весь, одним глазом на меня смотрит. Поставили нас тута... — Дед Афанасий отбежал от могилы шагов на десять. — Трое. Я, казак незнакомый и он, Гришка Бобров... — Прекратилось движение в толпе, будто все окаменело. — «Изготовсь!» — офицер крикнул. Мы ружья подняли. А я... поверьте, люди! — По щекам старика ползли мутные слезы. — Не в себе. Уж и не соображаю, что делаю. Тут Иван Сапожков напрягся, голову вскинул и из последней мочи крикнул... Это... «Да здравствует революция!» И пальнули мы... Порешили героя. — Он стоял перед памятником, опустив лысую голову. — Не ведал, что творил. Но нету мне оправдания. Ваша воля. Хотите — казнь приму любую...

— А потом что? — спросил кто-то в тишине.

— Потом красные пришли. Ночью ко мне на сеновал Гришка: «Смотри, грит, проболтаешься — обоих нас к стенке». И денег дал. Пили с ним вместе много. Ну, а дале, после раскулачивания, Гришку Боброва в Сибирь, на поселение. Считаю, тридцать годков не было его слышать. Вроде забывать стал грех свой великий... Только нет, не забыл. Вижу его, Сапожкова, к дубу привязанного. Слышу тот крик его последний... Как приклад ружья в плечо толкает, чувствую. Когда выпью только — легче вроде...

Дед Афанасий смолк. Все молчало кругом.

— Сгинь с наших глаз, — сказал Иван Алексеевич. И дед Афанасий сгинул.

— Что теперь скажешь, Николай Григорьевич? — спросил председатель сельсовета.

И тут забился Григорий Фомич в руках сына и молодого парня, наверно, внука, заходили ходуное его плечи, и закричал он и в толпу, и в степь, и в небо:

— Да, я кончил Ваньку Сапожкова! И греха во мне нет! Свое он получил! Или не он с друзьями лавку отца в семнадцатом порушил? А коней?... задохнулся Бобров-старший от ярости, от воспоминаний, от бессилия. — Свое получил Ванька! Моя пуля в его сердце...

И здесь раскололи толпу двое — мужчины, по-городскому одетые, сыновья Марии Николаевны, бежали они к Григорию Боброву, и уже кто-то еще бежал за ними.

— Бей! — покатило по толпе. Закричали женщины.

Толпа потонула в реве. Но перекрыл рев голос Ивана Алексеевича, и был этот голос страшен и полон власти:

— Стойте, товарищи! Остановитесь и вы, Егор и Семен!

Послушались все: затихли голоса, медленно пошли к матери два потрясенных сына. Прекратилось движение. Тихо стало.

— Нет, Григорий Бобров, не унижимся мы до кровавой расправы над тобой. Нет нашего физического суда твоему собачьему телу за давностью лет. За свои злодеяния получил ты ссылку в четверть века. И ты, и твой кровопивец-отец, и братья. Молодые не знают, а мы, старики, помним, кем вы, Бобровы, были для села Старогоры. И за Ивана, за мученическую смерть его, суд тебе — твои дети и внуки. И совесть твоя. Видно, осталось ее чуть-чуть в твоей поганой душе, коль пришел сюда. А теперь, Григорий Бобров, уходи! Не погань наш святой праздник!

Безмолствовала толпа. Тяжелые тучи плыли над Старогорами, над балкой, над могилой Ивана Сапожкова.

Видели все: побрел вниз, к селу, Григорий Бобров, побрел, как пьяный, заребав землю ногами. А за ним, чуть помедлив, пошел, опустив голову, Николай Григорьевич, Бобров-младший, и еще несколько человек пошли за ними. Метнулся следом молодой парень, тот, что держал за одно плечо Григории Фомича, когда старик кричал свои страшные слова. Сделал парень несколько шагов, остановился, резко махнул рукой и повернул назад.

Ушли они.

Тогда сказал в тишине Иван Алексеевич Шахов: — Вот так погиб на этой земле Иван Сапожков. Здесь перед вами лежит в могиле. Не забывая этого, люди! А особенно вы, молодые, пионеры и комсомольцы. Он отдал свою жизнь... — Прервался голос председателя сельсовета, и тяжким вздохом ответила ему толпа. — ...За вас. Чтобы вы жили счастливо. — Шахов повернулся к оркестру и сказал дирижеру: — А теперь, сынок, давай наш... Давай «Интернационал!»

маршал Тухачевский:

ВОСПИТАТЬ В СЕБЕ БОЙЦА

Лев СИДОРОВСКИЙ

В этой крохотной однокомнатной квартире на улице Пилота Нестерова, где убранство самое что ни на есть аскетичное, взгляд сразу приковывает к себе молодой мужчина на портрете в полстыни: стройный, подтянутый, в петлицах гимнастерки — четыре ромба, тщательная прическа, миндалевидные глаза...

Уловив мой интерес, Ольга Николаевна тихо вздохнула:

— Красивый был Миша...

Да, этот человек из легенды, который, по оценке, данной Георгием Константиновичем Жуковым, «...гигант военной мысли, звезда первой величины в плеяде военных нашей Родины», для нее прежде всего Миша старший брат... Седая как лунь хозяйка квартиры достает из секретера коробку с немногочисленными фотографиями, документами.

Разворачивает «Поколенную схему рода Тухачевских». Оказывается, их фамилия существует с XV века, когда «...Великий князь Василий Васильевич пожаловал Богдана Григорьевича селами Скороино и Тухачевым в Серпейском уезде, а также в Московском уезде волостью Тухачевской с деревнями и за то прозван Тухачевским».

Ольга Николаевна поясняет:

— Наш род со стороны отца идет от разорившихся дворян Тухачевских, а со стороны мамы — от крестьян Милоховых из деревни Княжино... Было у меня четыре брата и четыре сестры. Миша по старшинству — третий...

Перебираю снимки... На одном — подросток в белой косоворотке, подпоясанный широким ремнем с массивной пряжкой, украшенной вензелем «1ПГ». Ольга Николаевна улыбается:

— Это когда Миша учился в 1-й пензенской гимназии... Помню, в Пензе тогда все очень увлекались французской борьбой. Брат тоже не избежал этой

страсти. На импровизированных гимназических чемпионатах неизменно оказывался победителем. Нередко увлечение спортом в таком возрасте, вы знаете, отвлекает от учения, от книг, но у Миши подобного не замечалось. Например, по-немецки и по-французски говорил и читал настолько хорошо, что поразил этим государственного деятеля Франции Эдуарда Эррио. Неплохо знал и латынь, в оригинале прочел «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря. Кстати, впоследствии знание языков позволило ему в подлинниках читать иностранные военные труды... Еще в отроческие годы испытал потрясение от «Войны и мира», и его любимым литературным героем навсегда стал Андрей Болконский. Не случайно Миша говорил отцу и братьев отправиться из Пензенской губернии в Тульскую, в Ясную Поляну, чтобы увидеть Льва Николаевича. Знаменитый писатель неожиданных гостей встретил радушно, даже прокатил в бричке... Рано обнаружился в нем и «артистический» талант. Пьесы мы обычно сочиняли сами, рисовали смешные афиши, главными исполнителями, как правило, бывали Михаил и Александр. Николай открывал и закрывал занавес, а Игорь играл на рояле... Впрочем, к музыке так или иначе тянулись все, у нас стоял рояль, на котором Рубинштейн некогда давал концерты... Кроме рояля, Мишу влекла скрипка. Когда старшие братья и сестра стали учиться танцевать, он сразу превзошел всех: кружился в вальсе, держа два стакана, наполненных до краев водой, и ни одна капля не проливалась! Спустя годы, на балах в военном училище, в паре с любимой своей сестрой, красавицей Надей, танцевал так, что никто не мог оторвать взгляда от их дивной пары... Но это было уже после учебы в Московском Екатерининском кадетском корпусе...

Оканчивая корпус, Михаил, как первый по успехам, мог выбрать любое училище и прежде всего столичное, Павловское, которое ему, отличному

строевику, подходило больше всего. Однако — на всеобщее удивление — Тухачевский предпочел гораздо более скромное — Александровское. Почему? Да потому, что вовсе не в его характере было прельститься «блестящей» карьерой придворного офицера, этакого светского шаркуна и щеголя. Михаил знал: Александровское по военной подготовке лучшее. И это определило все.

— Окончание училища, — вспоминает Ольга Николаевна, — совпало с началом мировой войны. Брат сразу же уехал в полк.

Примечательно свидетельство бывшего унтер-офицера Семеновского полка Петра Дорофеевича Рябова:

«...В полку офицерство в большинстве были князья, графы, бароны. Правда, и среди них были порядочные люди, например, полковник Касаткин-Ростовский, Кудашев, прапорщик Пржевальский — племянник исследователя Центральной Азии, но на голову выше всех был поручик Тухачевский, это был высокообразованный офицер...».

Чтобы понять, как этот человек воевал, достаточно лишь узнать, что за очень короткий срок, с сентября 1914-го по февраль 1915-го, на его грудь легли шесть боевых орденов!

— Вдруг в феврале, — продолжает Ольга Николаевна, — газета напечатала имя Миши в списках убитых... Мы были потрясены. К счастью, это оказалось ошибкой, недели через две выяснилось, что брат в плену...

Только пятая попытка побега оказалась удачной. В плену как-то Михаил увидел листовку Ленина, обращенную товарищам, томящимся в плену. От имени Российской социал-демократической партии Владимир Ильич призывал пленных быть на стороне Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и, возвратившись на родину, стоять «не за царя, а против царя, не за помещиков и богачей, а против них»: «Вернитесь в Россию, как армия революции, как армия народа...»

— И вот однажды, — Ольга Николаевна задумчиво смотрит в окно, словно видит там далекое-далекое прошлое, — когда мы все собрались за обеденным столом, неожиданно распахнулась дверь, и на пороге появился худой, измученный человек. Лишь по улыбке узнали мы нашего Мишу... Пока брат был в плену, семья перенесла еще одну утрату: в четырнадцатилетнем возрасте умер Игорь, поразительно одаренный, которому предвещали блестящую будущность музыканта... Через трое суток Михаил опять покинул нас и отправился в полк. На этот раз разлука была недолгой: вернулся он в декабре. Мы жили тогда в селе Вражском, под Пензой, в бывшем имении нашей бабушки. Крестьяне на сходе постановили оставить для нас наш дом. Свое не ахти какое хозяйство вели сами. Самым тяжелым делом была заготовка дров, и Михаил сразу же главные заботы об этом взял на себя. В январе восемнадцатого уехал в Москву...

Спустя два месяца — счастливая встреча со старым товарищем, большевиком Николаем Кулябко. К тому времени Тухачевский уже успел поработать в Военном отделе ВЦИК, а Куляб-

ко стал членом ВЦИК, заместителем председателя Всероссийского бюро военных комиссаров. Ощувив, что Михаил на большевистской платформе стоит прочно, Николай обнял друга:

— Готов рекомендовать тебя в ряды партии.

Вспоминает Ольга Николаевна:

— Он тогда завел к нам только на день. Вернее, не завел, а зашел; ямщик смог довести его лишь до деревни Варварки, и последние семь-восемь километров Миша добирался пешком, перепрыгивая с льдины на льдину, преодолевая уже тронувшуюся реку. На нем не было сухой нитки, но зато каким счастьем светились глаза!... Радостно возбужденный, поведал, что стал большевиком, что занят организацией новой армии, что твердо решил связать с ней свою судьбу...

Свидетельствует Николай Николаевич Кулябко:

«...Во Всероссийское бюро военных комиссаров подбирались тогда кадры для так называемой Западной завесы. Она должна была прикрыть центр России на случай, если германские империалисты нарушат Брестский мир. По моему предложению Тухачевский был назначен военкомом Московского района Западной завесы. А когда на Волге вспыхнул мятеж белочехов, я имел случай доложить о Тухачевском Ленину. Владимир Ильич очень заинтересовался им и попросил привести «поручика-коммуниста...»

Ленин подробно расспросил молодого собеседника, при каких обстоятельствах тот бежал из немецкого плена и как смотрит на строительство новой, социалистической армии. Видимо, его мысли вызвали интерес: скоро вчерашний поручик получил назначение на пост командующего 1-й Революционной армией Восточного фронта. Ему предоставили возможность самому осуществить идею, высказанную Владимиру Ильичу: свести разрозненные отряды в регулярные соединения.

Ситуация, в которой сразу же оказался двадцатипятилетний командарм, была чрезвычайно сложной. Во главе Восточного фронта стоял откровенный авантюрист Муравьев, в прошлом подполковник старой армии, замесливший теперь измену. Разлагая воинские части, поощряя пьянство, неподчинение командирам, он стремился лишить командарма-1 всякой инициативы. Однако жестко предписанный Муравьевым план наступления на Самару, где в то время концентрировались главные силы белогвардейцев, Тухачевский счел сумасшедшим, решил внести свои коррективы. Разгорался конфликт.

«...Совершенно невозможно так стеснять мою самостоятельность, как это делаете вы, — пишет он Муравьеву со станции Симбирск. — Мне лучше видно на месте, как надо дело делать. Давайте мне задачи, и они будут исполнены, но не давайте рецептов — это невыносимо. Неужели всемирная военная история еще недостаточно это доказала?! ...Думаю, что нам необходимо свидеться...».

Встреча состоялась, но уже при совсем особых обстоятельствах. Возбужденный вспыхнувшим в Москве левозсеровским мятежом, Муравьев тоже



решил попытать счастья. Причем был уверен: недавний поручик лейб-гвардии Семеновского полка его поддержит. Однако в ответ на свое «программное» заявление («Я поднимаю знамя восстания, заключаю мир с чехословаками и объявляю войну Германии») авантюрист услышал: «Предатель!». Отдав приказ расстрелять Тухачевского, Муравьев отправился «осаждать» Симбирский Совет. Считая командующего фронтом старым «советским войкой», красноармейцы были явно сбиты с толку: почему они должны расстреливать этого молодого командира?

Кто-то поинтересовался:

— За что вы арестованы?

— За то, что большевик.

— Да ведь мы тоже большевики.

— Если вы большевики, то знайте, что Муравьев изменил Советской власти...

Из зала заседаний Симбирского Совета живым Муравьев не вышел. Его сторонники были разоружены. Но, увы, доверие к военспецам пошатнулось здорово. Среди красноармейцев вновь вспыхнуло подозрение в измене всех бывших «золотогонников». И вот ложные слухи о «предательстве», паника, отступление без боя. Так был сдан Симбирск...

Командарм Тухачевский вернет потом и Симбирск, и Сызрань, и Самару... И возглавит 8-ю армию Южного фронта.

На юге его армии была поставлена задача: освободить от генерала Краснова верхнедонские станции. В упорных сражениях одна за другой становились нашими и Казанская, и Мигулинская, и Вешенская... Еще на Восточном фронте наметилась такая характерная черта Тухачевского: учитывая недостаточную военную подготовку многих командиров, указания им старался давать конкретные, а не общие, но личной инициативы при этом отнюдь не стеснялся. Подобный стиль руководства проявился и здесь. Так, 11 февраля телеграфировал начдиву М. Я. Лацису:

«Поздравляю с неожиданными сверхуспехами. Приказом №5 на Вас возложена задача, которая решит участь всего фронта,— взрыв железной дороги и телеграфа. Напоминаю правила кавалерийского набега: 1) бесконечно смелый начальник и подчиненные; 2) отряд подвижен и не слишком велик. Исполнение стремительное».

Что ж, приказ начдив выполнил с блеском: организовал отборный отряд кавалеристов, который ночью, по бездорожью обходя населенные пункты, совершил смелый рейд, разбил на одной станции телеграф и взорвал в пяти местах железнодорожное полотно, прервав путь эшелонам белых из Царицына... Снова перечитывая эту телеграмму, начинающуюся так нестандартно, так по-человечески тепло: «Поздравляю с неожиданными сверхуспехами...» Невольно ощущаю, как радостно было тогда на душе Лациса, как хотелось получше сделать дело... Да, в этом тоже был стиль командарма Тухачевского! Не случайно, судя по со-

хранившимся записям, все его переговоры по прямому проводу начинались неизменным «здравствуйте» и заканчивались столь же неизменным «всего доброго»...

Еще раньше, на Восточном фронте, Тухачевский подчеркивал, что главное для командира — хладнокровное руководство боем, и часто по этому поводу вспоминал слова Суворова: «Хотя храбрость, бодрость и мужество всюду и при всех случаях потребны, только тщетны они, ежели не будут истекать от искусства, которое возрастает от испытаний, при внушениях и затверждениях каждому должности его». Спустя годы бывший член Реввоенсовета 1-й армии Валериан Владимирович Куйбышев так коротко сформулирует суть самых первых успехов молодого командарма: «Тухачевский на фоне партизанщины был уже, по существу, представителем нового периода в истории армии...». И теперь, весной 1919-го, снова оказавшись на Восточном, уже во главе 5-й армии, на главном направлении фронта, действующего против Колчака, Михаил Николаевич стремительно совершенствовал свое полководческое мастерство.

Здесь началась его боевая и человеческая дружба с М. В. Фрунзе. Здесь Тухачевский еще больше уверовал в справедливость сформулированного им принципа: для того, чтобы понимать характер и формы гражданской войны, необходимо причины и сущность этой войны сознать, то есть знать основы марксизма, понимать классовую борьбу, неизбежность диктатуры пролетариата. В 5-й армии весь комсостав был коммунистическим. Да, коммунисты шли в атаку самыми первыми — когда

враг бежал от Бугуруслана и Бугульмы; и когда после беспримерного перехода (чтобы выйти в тыл противнику, сто двадцать километров проследовали ускоренным маршем через горные перевалы, неся орудия на руках) разгромили Уральский корпус колчаковцев и еще две дивизии; и когда освобождали Златоуст и Челябинск... В конце июля бойцы рапортовали Ленину:

«Дорогой товарищ и испытанный верный наш вождь! Ты приказал взять Урал к зиме. Мы исполнили твой боевой приказ. Урал наш. Мы идем теперь в Сибирь».

Орден Красного Знамени засветился на груди командарма. Как гласил приказ: «...Огромный успех, достигнутый армией, является результатом, главным образом, таланливо созданного тов. Тухачевским плана операции, который твердо проведен им в жизнь».

А потом в непрерывных боях от Тобола до Омска, минув этот, полный огня и крови путь с поистине рекордной скоростью, форсировав три крупные реки, его армия завершила разгром Колчака. Как образно отмечал в приказе Тухачевский: «Разбита одна из сильнейших крепостей реакции, и через ее развалины виден путь к окончанию гражданской войны...»

Пленный интендант на допросе в Омске утверждал, что искал случая сдать, рассчитывая на то, что командующий — из бывших офицеров.

— Какая наглость и трусость, — презрительно заметил Тухачевский.

В эти же дни командарм был удостоен Почетного золотого оружия («За личную храбрость, широкую инициативу, энергию, распорядительность и знание дела...»), а его армия — ордена

Красного Знамени и Почетного Красного знамени ВЦИК.

Снова трудю на юге — и опять спешит туда Тухачевский. Только теперь под его началом — не армия, а фронт, Кавказский. Рядом надежная рука члена РВС Г. К. Орджоникидзе. Михаилу Николаевичу вообще везло на надежных друзей — может, еще и потому везло, что сам умел быть товарищем верным. Вспоминая кипучую энергию Серго на Южном фронте, писал: «Мы работали вместе. Ожесточенная борьба за Ростов. Борьба за Кубань. Окончательное уничтожение армий Деникина. Непрерывные поездки на фронт... Как переживал Григорий Константинович бои и победы...»

Остатки деникинцев бежали в Крым. А Тухачевского ждал уже Западный фронт, борьба с Пилсудским...

Вспоминает подполковник в отставке Александр Иванович Манаков:

«...Под Белостоком белополяки стали сильно теснить наши войска, и дивизионная школа заняла оборону на важном участке фронта. Кое-где уже началась стрельба. Вдруг показываются три машины... Вышли три командира, один из них идет ко мне. Подойдя вплотную, протягивает руку: «Командующий Тухачевский». Я опешил, не ожидая, чтобы командующий мог так рисковать жизнью: уже свистели пули. Михаил Николаевич спросил, какая часть занимает участок, сколько у нас пулеметов, сдержим ли противника. Белополяки ударили из артиллерии, видимо, обнаружив, что здесь кто-то из большого начальства. Я тогда и подумать не мог, что командующий такой молодой. Мы привыкли видеть командующих более солидного возраста, а перед нами оказался почти юноша...»

Что ж, под водительством этого «почти юноши» были освобождены Вильно, Гродно, Барановичи... Михаил Кольцов позднее напишет:

«...В годы мировой войны задумчивый, почти рассеянный юноша в тужурке хаки, — он нашел себя во главе полков, оборонявших социализм, блестящий талант крупнейшего стратега-полководца развернулся в громких походах, защищая восточную и западную границы Советской страны, отогнав белопольскую армию до самых ворот Вар-

шавы, к ужасу и отчаянию польского маршала, к почтительному восхищению европейских военных светил...».

«Под впечатлением надвигающейся грозной тучи,— признавался Пилсудский,— казалось, рушилось государство, колебалась стойкость и ослабевали солдатские сердца...»

При развитии дальнейшего наступления потребовалась немедленная передислокация сил. Пленум ЦК партии одобрил предложение Тухачевского о передаче в распоряжение Западного фронта с Юго-Западного Фронта Первой Конной, 12-й и 14-й армий. Однако член РВС Юго-Западного фронта Сталин выполнению директивы, по сути, бойкотировал, сам желая сорвать лавры победы — хотя бы взятием Львова. Но эти честолюбивые намерения рухнули.

Итак, наступление Западного фронта было провалено. Политбюро ЦК РКП(б) освободило Сталина от должности члена РВС Юго-Западного фронта. — этого Тухачевскому он не сможет простить никогда...

Ольга Николаевна вспоминает: — Несмотря на такие события, Миша нас не забывал. Его любовь и заботу домашние чувствовали постоянно. В Инзу, после всей этой жуткой истории с Муравьевым, он пригласил погостить маму. Потом вызывал к себе по очереди сестер. Например, когда командовал 5-й армией, у него долго жила Соня. Когда возглавлял Западный фронт, приехала к нему в Смоленск я. Из Смоленска Миша отправился на подавление Кронштадтского мятежа и достойно исполнил приказ Ленина. За Кронштадтом последовал Тамбов: надо было покончить с антоновщиной, и поручил это Мише, как известно, тоже лично Владимир Ильич... В Тамбове у него бывала сестра Маруся. Миша занимал там маленький домик в саду, похожий на беседку. Ни о какой охране не хотел и слышать... После успешного разгрома банд Антонова, по указанию Ленина, получил месячный отпуск и провел его у нас, во Вражском. Впервые после гражданской войны встретились все оставшиеся в живых братья и сестры. Снова зазвучал рояль... Когда приспело возвращаться в Смоленск, забрал туда меня с Лизой. Несмотря на большую загруженность, и там находил время для музыки, живописи. К семейным вечерам сочинял веселые стихи и даже целые сатирические поэмы... В Смоленске родилась его дочь Светлана. Миша чувствовал себя счастливейшим из отцов. У нас установилась несколько необычная семейная традиция: день рождения Светланы отмечали в течение года каждый месяц...

Ликвидация антоновщины стала его последней военной операцией. Реввоенсовет республики издал приказ:

«...Приобретая с каждым днем новые теоретические познания военного дела, М. Н. Тухачевский искусно проводил задуманные операции, отлично руководил войсками как в составе армии, так и командуя армиями фронтов Республики, и дал Советской республике блестящие победы над ее врагами на Восточном и Кавказском фронтах. Оценивая вышвыжженную военную деятельность командующего Западного фронтом, Реввоенсовет Республики переводит М. Н. Тухачевского в Генеральный штаб».

Еще в начале гражданской этот человек взялся за перо, чтобы переосмыслить и переоценить буржуазные взгляды на стратегию и оперативное искусство с точки зрения марксизма-ленинизма. По сути, он первый командующий, начавший учить высший и старший комсостав военным принципам ленинизма. Будучи во главе 1-й армии, еще в 1918-м сделал правилом военно-научный разбор проведенных операций с командирами и штабными работниками, воспитывая их и воспитываясь вместе с ними. Спустя год в 5-й армии по его инициативе возникла Инспекция военного-учебного дела для постижения опыта гражданской войны. Также были созданы Высшие курсы штабных и строевых начальников, где он прочитал цикл

лекций, составивших научный труд «Стратегия национальная и классовая». Уже само название свидетельствовало о новизне постановки вопроса, никогда ранее не встречавшейся в военной литературе.

В своей первой лекции Тухачевский говорил:

«Мы все видим, что наши русские генералы не сумели познать гражданскую войну, не сумели овладеть ее формами. Лишь очень немногие генералы белой гвардии, способные и проникнутые классовым буржуазным самосознанием, оказались на высоте своего дела. Большая же часть надменно заявляла, что наша гражданская война не вполне война, так, какая-то малая война или комиссарская партизанщина. Однако, несмотря на такие злоеющие утверждения, мы видим перед собой не малую войну, а большую планомерную войну, чуть ли не миллионных армий, проникнутую единой идеей и совершающую блестящие маневры. И в рядах этой армии, среди ее преданных, рожденных гражданской войной начальников начинают слагаться определенная доктрина этой войны, а с ней вместе и теоретическое ее обоснование... Революционная действительность открыла глаза на значение большой организованной войны для дела освобождения пролетариата... Изучение основ и законов гражданской войны — это вопрос коммунистической программы...»

Эта его лекция, как и многие другие, хранится в личной библиотеке Ленина. Перечитаем его работы: и сегодня они звучат актуально.

«Рабочие и крестьяне должны знать, что Советская власть приложит все силы и средства, чтоб избежать новых войн, но они должны сознавать, что классовые враги Советской России только и ждут случая, чтобы с наименьшими для себя потерями наброситься на нее и задушить ненавистное рабочее государство. А раз так, то за мирным трудом не должна забываться и боевая подготовка...»

«Тот начальник, который не является духовным воспитателем бойцов, никогда не будет для них в бою достоянием авторитетом...»

«Сознательная дисциплина, соединенная со способностью красноармейца к самостоятельным, смелым действиям, с предприимчивостью, с горячим интересом ко всем изменениям обстановки, — вот что создаст выдающегося бойца...»

Сколько сил и нервов потратил он на посту начальника штаба РККА в борьбе за внедрение техники — ведь даже некоторые крупные военные авторитеты продолжали упорно оставлять поклонниками «штыка и клинка». В 1928 году Тухачевский написал докладную записку о необходимости перевооружить Красную Армию и развить ее авиацию и бронетанковые силы. Он дал расчет количества новых средств вооружения и предлагал построить ряд заводов для выполнения этой задачи. Сталин признал записку нереальной. Тухачевский подал рапорт об освобождении от должности, ибо, как писал, «старался сделать Штаб Красной Армии инициативным, но тот помимо его воли превратился в простой технический аппарат».

Михаила Николаевича назначили командующим войсками Ленинградского военного округа.

На берегах Невы память о себе он оставил светлую. Лишь прибыл, провел учение по ПВО города. Результатом остался недоволен, о чем детально доложил на широком совещании и тут же принял экстренные меры. Круто взялся за защиту подступов к Ленинграду: по его проекту на Карельском перешейке появилась система искусно расположенных инженерных укреплений. Вместе с командным составом постоянно выезжал в приграничную зону для отработки различных вариантов развертывания войск на случай военных действий. Помог создать Газодинамическую лабораторию, где вскоре родились реактивные снаряды для авиации — предвестники «катюши»...

Был в сердечных отношениях с С. М. Кировым. Вообще друзей здесь обрел много, например, Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич вспоминал:

«...С первого дня нашей дружбы я проигрывал Тухачевскому свои сочинения. Он был тонким и требовательным слушателем. Иногда просил повторить то или иное место, а порой и все произведение. Замечания его неизменно били в точку... Однажды вместе отравились в Эрмитаж. Бродили по залам и, как это нередко случается, присоединились к группе экскурсантов. Экскурсовод был не очень опытен и не всегда давал удачные объяснения. Михаил Николаевич тактично дополнял, а то и поправлял его. Минутами казалось, будто Тухачевский и экскурсовод поменялись ролями. Под конец экскурсовод подошел ко мне и, кивнув в сторону Михаила Николаевича, одетого в штатское, спросил: «Кто это?» Мой ответ поразил его так, что на какое-то время он буквально лишился дара речи. А когда пришел в себя, стал благодарить Тухачевского за урок. Михаил Николаевич, дружески улыбаясь, посоветовал молодому экскурсоводу продолжить учебу. «Это никогда не поздно», — добавил он».

Ольга Николаевна показывает редкий снимок: Михаил Николаевич, его жена Нина Евгеньевна и Светлана на качелях. Сфотографировались воскресным днем под Ленинградом, в Тарховке... Еще он успевал здесь мастеровитой скрипки, причем старался, чтобы его инструменты были не хуже изготовленных специалистами. Сам хорошо играл: нередко из окна его квартиры в доме № 19 по улице Халтурина доносилась бетховенская соната...

Шло время. Международная обстановка осложнялась. Сталин был вынужден пересмотреть свое отношение к докладной записке Тухачевского. При всей своей нелюбви к автору записки понимал: более подходящего человека, который мог бы осуществить перевооружение армии современным оружием, нет.

Так Тухачевский становится заместителем народного комиссара обороны и начальником вооружений.

Динамо-реактивная пушка, ракетные двигатели, авиаторпеды, перестройка всей военно-изобретательской работы — сколько он успел и сколько ему не дали успеть...

Внимательно наблюдая за развитием международных событий, будущее предвидел просто поразительно. Вот, например, что писал в 1935-м:

«Придя в январе 1933 года к власти, Гитлер заявил, что ему потребуется четыре года для уничтожения кризиса и безработицы в Германии. Эта национал-социалистическая демагогия так и осталась пустой демагогией. Зато, как теперь становится ясным, за этим демагогическим планом скрывался другой, гораздо более реальный четырехлетний план создания гигантских вооруженных сил... Итак, Германия организует громадные вооруженные силы и в первую очередь готовит те из них, которые могут составить могучую армию вторжения...»

Писатель И. Э. Бабель рассказывал, как однажды присутствовал во время маневров при докладе командиров Тухачевскому о действиях «красных» и «синих». Михаил Николаевич слушал и улыбался. Когда доклад кончился, Бабель, оставшись наедине с маршалом, спросил: «Я видел, что вы улыбались, как будто иронически. Почему?» Михаил Николаевич ответил серьезно и даже грустно: «Война будет совсем другая...»

Да, он отчетливо представлял, к какой войне надо готовиться. И готовился, хотя давно уже не чувствовал под собой твердой опоры. Умный, проницательный, он слишком хорошо знал Сталина, чтобы поверить в его доброе к себе отношение. Тухачевский знал, как ревниво относится Сталин к чужой славе или просто к известности. А некоторые факты настораживали все больше и больше. Например, в 1930

году в Академии имени М. В. Фрунзе состоялась дискуссия по истории гражданской войны, в ходе которой неудачу под Варшавой вопреки истине упорно приписывали только Западному фронту и его командующему. Протестуя против несправедливых обвинений, Михаил Николаевич написал Сталину, но ответа не дождался... В феврале 1935-го в печати вновь появилась давняя беседа со Сталиным, который категорически утверждал: «Смешно поэтому говорить о «марше на Варшаву» и вообще о прочности наших успехов, пока врагелевская опасность не ликвидирована...» Для чего понадобилось спустя пятнадцать лет возрождать старый спор? Многие поняли это однозначно — как желание уязвить Тухачевского, в то время начальника вооружений и заместителя наркома обороны.

В 1936 году по предложению Тухачевского прошла большая стратегическая военная игра — с целью проработать методы и способы активного отражения при нападении гитлеровской армии на Советский Союз. Резко возражая против заниженных расчетов сил противника, Михаил Николаевич утверждал: немцы смогут выставить примерно двести дивизий. Задумаемся, насколько оправдался его прогноз: сто девяносто дивизий ринулись на нашу землю в то недоброе утро... Кроме того, Тухачевский был убежден: чтобы обеспечить внезапность нападения, противник начнет войну первым. Но и на это его предвидение Сталин внимания не обратил...

Зато Гитлер хорошо понимал, какую опасность являют маршал Тухачевский с единомышленниками. Была организована подлая провокация: Сталин получил сфабрикованный гитлеровской разведкой «секретный документ», из которого явствовало, что Тухачевский с группой других советских военачальников — агенты немецкого генерального штаба.

Ольга Николаевна не в силах скрыть слез:

— Он чувствовал приближающуюся беду, но, обладая железной выдержкой, старался ничем не выдать нам свою тревогу... И тут резкое понижение в должности: назначение в Приволжский военный округ. Сталин на его письмо не ответил. В Куйбышев Михаил Николаевич отправился с Ниной Евгеньевной, а там через несколько дней...

В печати было объявлено об аресте маршала Тухачевского и других видных военачальников.

Суд состоялся при закрытых дверях. По некоторым сведениям, Тухачевский в последнем слове сказал:

— Мне кажется, я во сне... Представим себе, с какой болью принимали лживые обвинения эти честные, мужественные люди...

Арестовали всех родных и близких Михаила Николаевича. Вскоре погибли жена маршала Нина Евгеньевна, а также братья Александр и Николай. Трех сестер выслали в лагерь, дочь-подросток, когда достигла совершеннолетия, тоже оказалась там. Мать Мавра Петровна и сестра Софья Николаевна умерли в ссылке...

Ольга Николаевна завершила рассказ... Молчим... Вместе с нами тихо перебирают старые фотокарточки Мария Николаевна и Елизавета Николаевна: они живут рядом и, узнав о госте, пришли к сестре. Потом я узнаю, что Светлана Михайловна последние годы жила на улице, носящей имя отца, что есть у маршала внучка Нина...

Да, справедливость восторжествовала. Имена маршала и его сподвижников обрели свою первозданную чистоту. Высокая и такая трагическая жизнь этого красивого человека всегда будет для молодежи всех поколений ярким примером честного, пламенного служения делу Революции, своему народу.

ТЫ — СЛОВНО, ТЫ — ЖИВНЯ, ТЫ — ВРЕМЯ!

Раиса АХМАТОВА

Бессмертие

Касаюсь мрамора могильных плит,
как шрамы,
под рукой шершавы даты...
Здесь спят
в боях погибшие солдаты,
но наша память никогда не спит.

Никто не заставлял, они шли сами,
хотя имели жизнь
всего одну,
но покидали мать, детей, жену,
чтоб мы под мирным небом
жили с вами.

Их подвига воспеть я не берусь,
но, не кривя душой,
одно скажу я:
у них учусь беречь я жизнь чужую
и мужеству бесстрашия учусь.

Что такое означает — постареть?
Жизнь я прожила свою большую
и не стану с завистью смотреть
на ликующую молодость чужую.
Не скрываю ни седин я, ни морщин,
глядя в зеркало,

не ахаю, не трушу.
Уважаю лишь таких мужчин,
ценящих не красоту, а душу.
Научила многому судьба,
было все:

падения и взлеты.
Строже я теперь сужу себя,
чем друзей случайные просчеты.
Дружбе отдавала всю себя,
это есть — и будет! —

самым нужным.
Праздники и трауры копя,
бой я объявляю равнодушным.
Мне такую не бывать вовек,
и, хотя давно детей ращу я,
я кланусь гортанной клятвой рек:
мудрой, сильной быть,
как ты, хочу я,

Родина!
Клянусь виском седым,
что вовеки не была скупой:
молодое — это молодым,
остальное — это нам с тобой.

В Михайловском

Наедине с тобой мне быть дано,
хотя два века кануло, минуло...
Горянка из чеченского аула
пером гусиным ранена давно.

Давным-давно,
с тех пор, как на коне
торил ты, гордый,
горький путь опасный
и подарил моей родной Чечне
свой непривычный

звучный стих опальный.
Он растворился навсегда в крови,
он воспарил во мне
бессмертной птицей.

Благослови меня, благослови,
любимый незнакомец смуглолицый!
Свечой бессонной в сердце оплыви,
вновь обживи младенческие горы.
Благослови меня, благослови!
Склоняюсь я,

как ты склонял глаголы.
Склоняюсь перед именем твоим
и о свечу ладони обжигаю...
И в мире, где живем мы и творим,
Михайловское сердцем обживаю.
Благослови меня, благослови —
все прошлые, все будущие строки.
Кричала и молчала от любви
я, как велел ты,

мой учитель строгий.
Я, боли и восторга не тая,
смотрю с высот чеченского обрыва,
как свечку гасит, но она, не я,
твоя неповторимая Арина.
На мне свой взор на миг останови,
приветствуя опять младое племя.
Ты — это слово,

ты — душа,
ты — время!
Благослови меня, благослови.

Перевела с чеченского
Инна КАШЕЖЕВА.

Владимир БЭЭКМАН

Долго ли существовать
окопам?

Посмотри, как живучи окопы,
как они существуют прочно,
заросли травой, устояли
на холме, в сосняке густом,
там, где дерн еще встарь заржавел
от осколков, когда-то горячих
и стремительных, словно смерть.

Посмотри, как живучи окопы,
пережили тех, кто копал их,
кто копал их, давно исчезли.
Исчезает и след могил,
даже письма их нынче стерлись,
да и память, пожалуй, стерлась,
бродит память возле окопов,
об окопах помнит земля.

Бродит в этих окопах память,
память в шрамах неровных ноет,
ноет в заживших старых ранах,
в ранах, людям не нанесенных,
что, однако же,
назревают,
назревают в скрежете стали —
из него возникают окопы,
и в окопах стонет земля.

Руки

Так хорошо,
когда ты ощущаешь:
есть у тебя
две сильные руки,
которыми ты можешь
в мире сделать
буквально все.
Вспахать ты можешь землю,
разрезать хлеб пахучий
и держать
уверенно и крепко,
навсегда,
везде и всюду
руку дорогую.

Руками этими ты в состоянии
создать из груды мертвого металла
полезные и умные машины.
Двумя руками, именно своими,
ты можешь при желании построить
не только дом для самого себя,
но также совершенно новый мир,
людскому роду столь необходимый,
и чувствовать с отрадой,
сколько сильны
две человеческих руки.
И это
поистине прекрасно,
в этом — жизнь!
А может,
то прекраснее всего,
что на руки ты можешь положить
привычную издревле ношу,
которой нет на свете тяжелее,
что есть в юдоли у тебя
две верные руки
и в миг усталости,
конечно же, на них
отяжелевшей от извечных дум
ты головой привычно обопрешься.

Перевел с эстонского
Владимир АЛЕЙНИКОВ.

Иван ЛЕТКА

Родина

Мотало,
кидало по свету
от отчего дома вдали.

Но не было, знаю,
и нету
роднее, чем эта, земли!
И в горькие годы сиротства,
и в радостный час бытия
у нас с тобой кровное сродство —
ты — родная мати моя!
...Горели под Гродно колосья,
и камень, и дерево — в прах!
Птенец обессиленный,

рос я
в твоих обожженных руках.
И ломоть промерзшего хлеба,
дыханьем своим отогрев,
дала ты...
Высокое небо
и колыбельный напев,
что в сердце у матери вечен,
как солнечный дождик грибной, —
и в поле,
и в цехе кузнечном, —
все это до смерти со мной!
Со мною — звездой голубою
и вербою на берегу...
О, Родина! Перед тобою
навек в неоплатном долгу.
Счастливым и нежным, и сильным
я буду до крайнего дня...
Лишь только бы,
только бы сыном
звала ты негромко меня.

Друзьям

Приветствую своих друзей,
душа не ведает разлуки.
К друзьям из юности моей
тяну натруженные руки.
О, как вас хочется обнять,
щекой колючею прижаться...
Но не воротишь годы вспять,
на время глупо обижаться.
Опять над памятью круги,
как в тихой речке после всплеска...
Как берега те далеки,
и поле ржи,
что возле леса.
Я так завидую порой
тому, кто в этот миг родился
на Гроднинщине дорогой...
Ему прекрасный мир открылся!
Где места нет

корысти, лжи,
где дрозд поет легко и звонко
и васильком средь поля ржи
мелькает хлопца рубашонка.
Приветствую я вас, друзья!
Шагаю рощей вместе с вами.
И над могучими корнями
ликует молодость моя!

Перевел с белорусского
Валерий ГУРИНОВИЧ. 15



Дмитрий ШЕВАРОВ.

Фото
Владимира ЧЕЙШВИЛИ



ЖИ





Цветы — боевым товарищам.

ВЪЕМ И ПОМНИМ

Б

ыл октябрь восемьдесят четвертого. Вторые сутки мы торчали в ташкентском аэропорту, дожидаясь отправки к месту постоянной службы. Нам выпал Урал. В средней полосе и на Урале шли дожди вперемешку со снегом, а в Ташкенте пахло розами, горячим асфальтом. И еще дымом. На улицах жгли костры из опавших листьев.

Всю ночь — толкотня у окошечка военного коменданта, разговоры об отложенных рейсах, о билетах, о погоде. Кто-то ругается, запнувшись о мои новенькие сапоги: «Лейтенант, ты не дома, подвинься...» Поджимаю ноги и думаю, что бы ответить этому сержанту, — уж больно резко берет. Но вдруг слышу от него же: «Кабул...» Вглядываюсь в лицо сержанта: парень как парень, с виду ничего особенного.

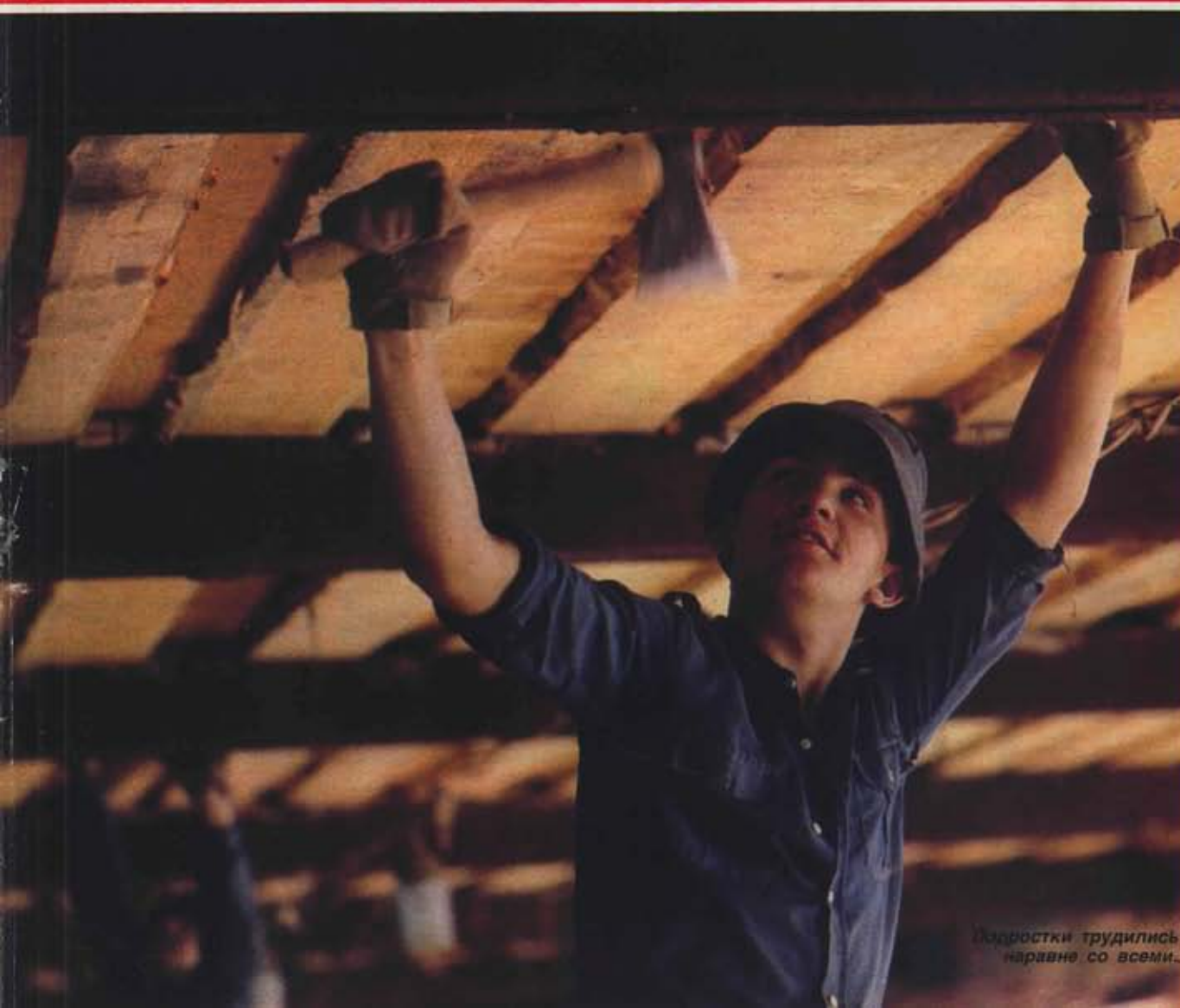
Под утро засыпаю, но ненадолго. Чертовски сводит ноги. А рядом прапорщик, хоть бы что, спит. На бетонном полу стоит его «Шарп», мигает яркой лампочкой, а мальчишеский голос с магнитофонной кассеты поет про десантный полк: «Все дальше улетает самолет, оставив мертвых там, в Афганистане...»

Вокруг магнитофона сидели и стояли люди, слушали. Потом кто-то сказал:

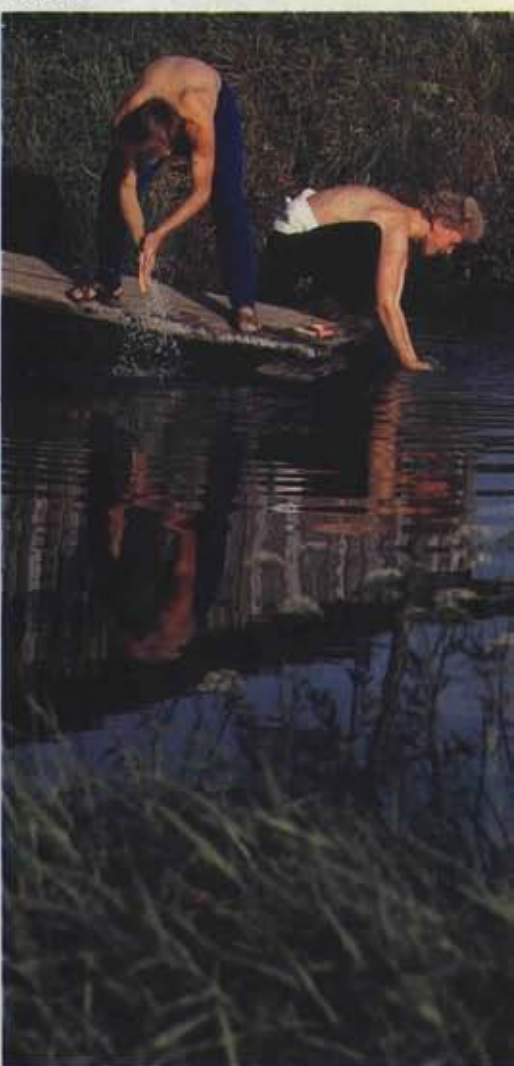
— Поглядите, наши ребята улетают...

Вспомнил этот эпизод, когда собирался в командировку к бойцам отряда «Шурави», к тем, кого знаю уже почти год и о ком, кажется, могу рассказать.

Подумалось: в том строю на ташкентском летном поле мог быть и кто-то из этих ребят... Григорий, Валентин или Олег...



Молодцы трудились наравне со всеми.



После работы.

Они улетали в Афганистан, а мы смотрели им в спины. Мы оставались в Союзе, а значит, в тылу. Что ни говори, а здесь теперь тыл, пока там фронт. Не знаю, что это была за досада. Или обида? Скорее всего, просто мальчишество. Что мы знали тогда об этой войне? Да и кто тогда говорил вслух — «война»?

Поколениям наших отцов и дедов выпадали общие испытания. Беда — так одна на всех. А наше поколение? Скажешь ли так о нем? Одни просто учатся, работают, служат в армии и возвращаются домой. Другие воюют. А, значит, домой из этих, других, возвращаются не все. Оттого и кажется, что в поколении моем несколько поколений. Есть отцы двадцати лет от роду, есть и двадцатилетние дети...

— Передайте ребятам вот это... — Она достала из сумки банку варенья. — Клубничное, вчера сварила. И еще передайте, чтобы береглись там. Дожди идут какие холодные!..

Я провожаю Ираиду Федоровну Журавлеву до работы, у дверей она быстро прощается:

— Опаздываю... Вернетесь, обязательно расскажите, как там Саша, Олег...

Мы познакомились прошлой осенью. Тогда в Вологде появился клуб «афганцев», и я вместе с ребятами пришел к Журавлевым. Из скупой военкоматовской справки мы узнали адрес родителей. Что там еще значилось?.. «Награжден орденом Красной Звезды (посмертно)». И еще мы знали имя. Его звали Геннадием.

Стояли перед дверью его квартиры, ничего, в сущности, о нем не зная. Не знали и того, что сам Гена никогда не входил в эту дверь. О новой квартире он узнал из писем родителей уже в Афганистане.

Мы не знали, что его дед погиб на фронте в Великую Отечественную, а его мать, тогда девочку, отправили в детдом. Не знали, что с тех пор, как пришла похоронка на сына, в этот дом ни разу не заходили ни школьники-тимуровцы, ни комсомольские работники, ни однополчане Гены.

Дверь открыла Ираида Федоровна. Провела нас в комнату, усадила, начала что-то рассказывать о работе, о младшем сыне-восьмикласснике, а сама ходила, видимо, не в состоянии успокоиться. Потом вдруг села, сжала руками виски.

— Где ж вы раньше-то были, мальчики? Три года уже прошло, три года Гены нет!..

«...Здравствуйте, Ираида Федоровна! Тронуть Вашим подарком. Очень вкусное варенье. Сразу и распробовали с чаем.

Живем хорошо, поселили нас в клубе. Работаем с 8 до 20 часов, а после работы поем песни наши. Часто вспоминаем с Сашей Соловьевым день, когда были у Вас, и, конечно, помним Геннадия. Нас, «афганцев», здесь восемь человек, так что есть о чем поговорить. Мы здоровы, и все у нас хорошо, тем более, что нас не забываете Вы, мама погибшего нашего парня. Наверное, у всех «афганцев» такие мамы.

Ну вот вроде и все. Пора на работу. Еще раз большое Вам спасибо за варенье, этим нас здесь не балуют. Олег Завьялов и все бойцы отряда.

Если будет время, пишите. Наш адрес: Череповецкий район, деревня Бурцево, студенческий строительный отряд «Шурави».

Конечно, это случайность, что они попали именно в совхоз «Комсомолец». Мог быть леспромхоз, могла быть узкоколейка... Они не торговались, не повернули назад, когда приехали в Бурцево «на разведку» и увидели, что жить фактически негде.

Расчистили от грязи две комнатки в полуразвалившемся деревенском клубе, с трудом разместили там дюжину кроватей. Когда я приехал, у ребят уже было по-своему уютно. На стенах — несколько стройотрядовских курток и несколько армейских гитар, где-то под потолком — телевизор. Стало еще уютнее, когда я достал из сумки банку клубничного варенья... Пошли расспросы, а потом ребята побежали на реку — смыть с себя грязь и пот двенадцатичасовой работы.

У «Шурави» три объекта. Коровник, простоявший полтора десятка лет без ремонта. Зерносклад, где в минувшую зиму рухнула крыша. И конюшня. Ее надо построить с нуля. Объекты для совхоза — самые необходимые. К уборке студенты должны были сдать зерносклад, к первым ночным холодам — коровник...

Узнал я об этом от Николая Алексеевича Беляева, инженера по охране труда, всю жизнь проработавшего в совхозе. Рассказал он о судьбе «Комсомольца», и рассказ этот получился невеселый.

Кажется, парадокс — рядом огромный город, промышленный Череповец, а переедешь на другую сторону Шексны и видишь, как опустела та деревня, где еще год-другой назад жили люди. Матурино, центральная усадьба совхоза, в один день стала частью города, и на ближайших угодьях нынче собрали, быть может, самый последний для этой земли урожай. Сюда уже ходит городской автобус, а в поле появились стрелы кранов.

— Были крестьяне, стали горожане. — говорит Николай Алексеевич...

Может быть, кого-то из деревенских это и радует, а его так нет. Последняя молодежь уйдет из соседних деревень, кто будет землю пахать?.. Да что молодежь! Из многих деревень ушли все. Из Гришина, из старого Домоозерова, из Озера, из Жары...

Вот на какой земле работают «Шурави», и стоит ли говорить, что значат для нее их руки именно сейчас. Для ребят очень важно работать своими руками на своей земле. Какие они в общем-то горожане? Многие в первом поколении. Отцы и матери их остались в деревне, туда они ездят каждые каникулы. Не загорать, а косить, рубить дрова, таскать воду... Они там свои. Там все еще помнят их пацанами.

На завтраке Андрей Шумов («трудный» подросток, 16 лет, размер обуви 46, рост где-то за 190) заглянул в свою тарелку и возмутился:

— У всех одна котлета, а у меня две. Почему?

Он строго посмотрел на повараху Свету.

Комиссар усмехнулся и объяснил:

— Ешь, Андриха, тебе в армии две порции положены. С твоим-то ростом. Так что привыкай, понял?

Андрей кивнул и вопросов больше не задавал. Потом я спросил у него, где хочет служить.

— В морской пехоте. На своих рабочих рукавицах он написал шариковой ручкой «спецкран». Это он о себе. Вообще у него неплохо с юмором, и он всегда готов подшутить над собой.

В отряде их трое, «трудных». Каждый из них, не будь этой «командировки» в стройотряд, мог к концу лета оказаться на скамье подсудимых. Впрочем, один уже осужден условно.

Подростки работают на равных со студентами, от зари до зари. Устают, конечно, больше, но вида стараются не подавать. Скидок на возраст не требуют.

От «афганцев» они узнают не о киношной армии, а о той, что воюет вдали от кинокамер, вдали от уюта и этой деревенской тишины. Они узнают, что голубые берет и зеркального блеска сапоги десантники там надевают только на «дембель».

О событиях в Афганистане еще ничего нет в школьном учебнике «История СССР». Но неужели это не наши двадцатидвулетние фронтовики — и те, что не вернулись, и те, что вернулись другими?.. Не всегда такими, какими их ждали. Одни казались нам слишком молчаливыми, другие — слишком обидчивыми.

— Я не обидчивый; а сердитый. Разница есть: обижаются надолго, а сердятся пять минут.

Так сказал мне Олег Завьялов, когда я напомнил ему его выступление на областной комсомольской конференции. За три минуты у «свободного» микрофона он успел сказать больше, чем иные делегаты в двадцатиминутных речах. Одна фраза запомнилась всем: «В Афганистане нам доверяли автоматы, а здесь нам не хотят доверить подвал...»

Сейчас у ребят есть помещение для клуба, горисполком выделил подвал в одном из жилых домов. Но только ли о подвале с такой болью говорил тогда Олег?..

...На фотографии постороннему и разобратся непросто: где тут «афганцы», а где «трудные». Внешний облик так часто обманывает нас...

О «трудных» Олег говорил: — Все мы трудные были, каждый по-своему.

— Ты мог бы, допустим, украсть, ограбить?

— При чем здесь «ограбить»? Каждый из нас подраться может. Правильно? Бывают такие ситуации, что иначе нельзя.

Гриша Мастюгин добавил:

— Я тоже не сахарный был. И родителей в школу вызывали, и на педсовете в кабинет дымовушку кинул... Там, в Афгане, пацаны быстро мужчинами становятся. Как быстро? А после первого боя. Тот, кто рвал рубаху и ходил героем, может оказаться трусом, а тот, кого и не примечали особо, тот окажется настоящим парнем. По-разному там выходит...

...Мастюгин одним прыжком одолел палисадник и оказался перед мальчишкой лет десяти, отобрал у него зажженную сигарету и смял в кулаке: «Чтобы я больше не видел!..»

Рядом, на крыльце, сидел пацан чуть постарше и курил, не таясь. Я подошел к нему, сел рядом.

— Ты чего здоровье горишь? — Мое здоровье, хочу и гроблю. В армию зато не пойду...

Темнело. Вечер кончился. Те, кто постарше, оседлали мотоциклы и погнали вниз по деревне. Остальные побежали за ними, глотая пыль, размахивая руками...

— Гриш, не поддаются они вашему воспитанию? — сказал я в общем-то в шутку.

Мастюгин посерьезнел. Я понял, что это для него большая тема и лучше об этом не шутить.

— Поздно их воспитывать. Опоздали мы к ним. Я сам деревенский, помню, в какие игры мы играли в их возрасте. В казаки-разбойники. А эти в десять лет уже не дети... Парней армия исправит, а вот девчат...



Григорий Мастюгин
качество кладки
гарантирует.



Пока это просто доски.
А будет —
крыша коровника.



Приготовление раствора —
дело тонкое.

Лето на Вологодчине выдалось такое, что по ночам надо топить печку. И по вечерам обычно кто-то сидит у нее, дежурит, пока остальные смотрят телевизор, читают, пишут письма. Они уже взрослые мужчины, но вот после Афганистана разлука с матерями дается им все труднее.

Валентин Петухов, студент пединститута, сержант запаса:

— Я служил в разведке. Там недолго свыкнуться с тем, что умрешь. Думаешь об этом спокойно. А как вспомнишь мать... Как она это переживает, что с ней будет? Я один у нее, а она с двадцать пятого года... Писал ей часто, как мог. И все одно: погода хорошая, кормят нормально, живу хорошо. Никогда не плакался в письмах...

Знаете, что для меня сейчас самое трудное? Приходить к родителям погибших. Не знаешь, что и сказать, чем утешить. Про себя-то, конечно, знаешь, что утешить нечем. Недавно были у матери одного старшего лейтенанта. Оказалось, мы из одного района — Тепличного. По одним дворам бегали...

Григорий Мастоюгин, студент политехнического, рядовой запаса:

— Я приехал домой черным, как эти штаны, а волосы белые. Худой, как трехколесный велосипед. Мать меня руками трогала — действительно ли живой я. Сейчас об этом можно со смехом рассказывать, а тогда... Мы стояли у пакистанской границы, пропустили караваны. Там до брони дотронуться больно. Даже в хэбэ на «ресничку» (крышка люка бронетранспортера. — Д. Ш.) сядешь, так еще ерзает, пока она не остынет немного. Письма нам раз в четыре месяца забрасывали. Мне всегда доставалась самая большая лачка — писали родители и три сестренки, младшие...

Олег Завьялов, студент политехнического, сержант запаса:

— Бывает, людям странно, что я так к матери отношусь. Что так люблю ее. Это редко теперь бывает, что ли? Говорят, что солдат из-за девчонки может себе пулю в лоб пустить. Не знаю, как это... Там, в Афганистане, главное, чтобы мать ждала. Мать там — это все...

Евгений Кремлев, студент политехнического, сержант запаса:

— У меня одна мать. Отец умер, когда мне было два года. Что писал матери?... Как мог успокаивал. В каждую свободную минуту садился за письмо, правда, они трудно давались. Не потому, что нечего писать. Всего нельзя писать... В конце письма иногда добавишь, что со следующим могут выйти задержки. А у самого руки дрожат.

Когда они возвращались три, четыре года назад, то их еще не встречали

у трапа пионеры с цветами. В аэропортах и на вокзалах к ним липли холеные мальчики лет сорока: «Давай чеки поменяем... Не продашь ли чего?..»

Они узнавали и не узнавали своей страны. Им казалось, что-то случилось, пока их не было. А случилось с ними. Они вернулись с войны... Они поняли раньше нас, что жить, как жили, нельзя. Ребята открывали газеты, но по газетам выходило, что Афганистан — всего лишь заметка в колонке международной информации, всего лишь эпизод в череде событий.

— Я вернулся, когда в Вологде было не больше тридцати «афганцев». Часто приглашали выступать в школах, в институте, но перед выступлением предупреждали: «Не дай бог скажете, что там кровь. Чтобы, знаете, не было разговоров, что там кто-то гибнет...» Вот и рассказывал, что там хорошо, жарко, а потом мне вопросы: «Давали ли вам автоматы? Стреляли ли вы?» Вот после этого и не знаешь, смеяться или плакать... Как объяснить, что с криком «ура» мы кишлаки не брали, что патриотизм там не в том, чтобы поднять людей в полный рост и погубить, пусть и ради победы... Пытаешься что-то объяснить, но потом думаешь: ни черта! Кто там не был, до конца не поймет.

Так говорил мне Володя Пресников, второй секретарь Советского райкома комсомола Вологды, один из тех, кто создал клуб воинов-интернационалистов, кто опекает сейчас стройотряд «Шурави». Я привез ему потом записку от ребят: «Старик, приезжай, если получится. Нужен твой совет и опыт...»

Володе, самому старшему в клубе, 27 лет. Служил в десанте, вернулся с ранением и медалью «За боевые заслуги». Полгода как стал секретарем, этим летом пробил свое первое большое дело — районный оборонно-спортивный лагерь. Мы сидим с ним у окна в его маленькой комнате общежития, я рассказываю о делах в «Шурави», а он о ребятах, о будущем клуба:

— Из Олега Завьялова не знаю, какой получится инженер, а вот комсомолу такие люди нужны. Он все доводит до конца, понимаешь? Потому и за клуб так переживает. Рейды, встречи, вечера, выступления... Это все хорошо. Но ради этого два десятка мужиков, понюхавших порошу, собираться каждый день не будут. Пусть даже в своем собственном подвале. У ребят в Череповце те же проблемы. Задумали они строить МЖК воинов-интернационалистов, загорелись, мы обещали поддержать — и все. Туда сунулись, сюда. Кругом стенка. Ни одно предприятие не захотело стать заказчиком. Мол, нет в стране такого нигде, зачем же нам эта мо-

рока? А идея-то какая! Да и не только в идеи дело, ведь сколько ребят, имеющих льготы, маются без жилья. Нет, все как положено, их ставят на очередь ветеранов войны, но вот, посуды, в нашем Советском районе в такой очереди семьсот человек, дают по две квартиры в год. Значит, тот, кто в конце очереди, получит квартиру лет через сорок! А чего могут дожидаться в такой очереди фронтовики? Будь МЖК, мы бы построили квартиры себе и им...

Я листаю его армейский альбом, вижу Володю на фотографиях. Тот же, с зальсынами, широкий лоб, увесистый боксерский нос и по-детски пухлые губы, но там, на этих фотографиях, он кажется старше себя сегодняшнего. А прошло уже пять лет.

Троих друзей потерял Володя в Афганистане. Одного сопровождал в последний путь на родину, в Ижевск. Заходил в его дом вслед за похоронкой, нес цинковый гроб, стоял у могилы. Командир сказал ему: «Дослужишь в Союзе, тебе осталось полгода». Это был единственный приказ, который он не смог выполнить. Он вернулся обратно, в свой десантный взвод.

...В Череповце на одной из пятиэтажек как-то появилась аршинная надпись: «Мы тебя ждем!» Расходясь после похорон, ее сделали одноклассники погибшего солдата. В том доме осталась жить его мать. Каждый день она проходила мимо этих хороших, искренних слов и каждый день плакала. Те одноклассники больше не приходили. Наверное, они решили, что долг памяти уже отдали. Или им просто стало некогда.

А вот ребята из «Шурави» считают, что память о погибшем друге — это забота о его матери. В очередную годовщину Апрельской революции «Шурави» пригласили в свой клуб родителей погибших воинов-интернационалистов. И не только родителей — вдов, детей, братьев. Впервые они собрались вместе, но солдатские матери узнали друг друга. Они встречались на городском кладбище, у кого-то и могилы сыновей рядом.

Был митинг в музее комсомольской славы. Потом ребята возложили цветы к каждой могиле, и у каждой могилы — минута молчания. Матери погибших пригласили их к себе в гости.

...Еще года нет клубу, но для одной из солдатских матерей ребята добились установки телефона, вдове погибшего офицера помогли с квартирой... Кто-то скажет, что это не бог весть какие услуги. Но это и не услуги. Это Память. А на нее нет преискуранта. Не может быть.

...В один из первых своих дней в Бурцево «Шурави» привели в порядок па-

мятник погибшим в Великой Отечественной. Тридцать лет назад он был поставлен на горке против клуба, соорудили его на деньги, собранные жителями деревни. Ребята выкосили траву вокруг памятника, открылись взгляду фамилии. Много фамилий. Больше, чем сейчас во всей деревне народу...

После стройотряда трое из «Шурави» по командировке обкома комсомола вылетели в Туркестанский военный округ, в военный госпиталь. В тот самый, где несколько лет назад поставили на ноги комиссара отряда Олега Завьялова. Тогда госпиталь только разворачивался, и там не было даже телевизора, а это, согласитесь, не последняя вещь для раненых. На часть заработанных отрядом денег ребята купили для госпиталя то, что ему необходимо сегодня, необходимо нынешним воинам-интернационалистам.

В один из дней командировки я зашел в бурцевскую библиотеку. По старой привычке порылся в книгах. А потом деревенский библиотекарь Галина Ивановна Соловьева протянула мне листок бумаги с каким-то объявлением: — У нас здесь никто толком и не знает, кто такие «Шурави». Вы журналист, так поглядите, правильно я написала?

Объявление было такое: «В четверг после сенокоса в домоозеровском клубе состоится встреча с воинами-интернационалистами из стройотряда «Шурави». От руки было приписано: «Шурави — значит советские люди».

— Все правильно, — сказал я, — все так и есть.

Вечером, после ужина, когда все ребята были в сборе, комиссар развернул сложное фронтовым треугольником письмо и стал читать...

«Завьялову Олегу и всем Шурави. Здравствуй, мои дорогие сыночки! С горячим приветом к вам семья Журавлевых. Спасибо вам, что нашли время написать нам письмо и сообщить о себе. Мы живем, все нормально. Я работаю, а Володя и Сереженька занимаются огородом и собирают ягоды, ездят в лес. Они ездили на мотоцикле, но теперь он изломался, так похуже дело будет. Мне некоторые женщины говорят: что тут хорошего — встречаться с чужими сыновьями, только себя расстраивать. Им меня трудно понять, а я ведь в каждом из вас нахожу что-то Геночкино. А главное, вы вернулись из этого пекла, в котором остались ваши сверстники, друзья. Я не завидую вашим матерям, а я счастлива вместе с ними, что вы вернулись домой. До свидания, наши дорогие и родные сыночки. С уважением, Журавлевы. 27 июля 1987 года».

— Вот такое письмо, мужики...



Обед в ресторане «Четыре колеса».



Любимые песни — о друзьях, о днях службы в Афганистане.



У каждого кооператива своя история рождения. Но создаются они, как правило, людьми знающими, которые имеют опыт, желание, средства... У ребят из Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова было лишь одно — желание. И тем не менее им удалось открыть кооперативное студенческое кафе. Назвали они его «Каисса» — по имени богини, покровительницы шахмат.

Гоголевский бульвар, 14. Здесь, при Центральном шахматном клубе СССР, и находится студенческое кафе. Кажется бы, какая связь между будущими инженерами-механиками и клубом? А началось все так.

Как-то на одном из занятий известного кулинара, преподавателя кафедры организации производства общественного питания Владимир Михайлов высказал идею о создании студенческого кооперативного кафе. Поначалу идея захватила многих. Однако чем глубже ребята вникали в премудрости кооперативного предприятия, тем меньше у них оставалось желания взяться за дело. Сложно — сетовали одни. Нереально — вторили другие. А, собственно, зачем нам это надо? — философствовали третьи. И все-таки идея устояла. За ее реализацию взялась небольшая группа — из семи человек — студентов механического факультета во главе с Александром Кузнецовым. У этих ребят была иная точка зрения. Она не изменилась и тогда, когда все-таки встал вопрос об аренде помещения, средствах. Как быть? — задумались студенты. Краткосрочный кредит? Но это десятки тысяч рублей долга! Они решили твердо: нет, никаких долгов. И выход нашли.

— Мы узнали, что в Центральном шахматном клубе СССР пустует помещение, где раньше размещалась столо-

вая, — рассказывает Александр Кузнецов. — Вот и предложили руководству клуба свои услуги, но на таких условиях: мы берем на себя организацию питания членов и гостей клуба, а нам безвозмездно предоставляют помещение и оборудование до конца текущего года. Наше предложение приняли.

Понятно, ребятам пришлось немало потрудиться, ремонтируя помещение, приводя в порядок различные механизмы, оборудование. Но, пожалуй, больше трудностей они испытывали во всевозможных инстанциях, где что-то согласовывали, утверждали, «выбивали». А с этим то и дело приходилось сталкиваться. И все-таки, как утверждают ребята, им больше везло на людей, которые с пониманием отнеслись к их инициативе. И во многом им помог Ленинский райисполком, в частности заместитель председателя райисполкома М. А. Кочетков. Не остался в стороне институт, выделив на их нужды тысячу рублей. Безвозмездно.

Мы устраиваемся с Александром и его компаньонами — Евгением Кукушкиным и Михаилом Волобуевым — в удобные кресла, что стоят в общем зале (у председателя кооперативного кафе нет отдельного кабинета), и за чашкой кофе продолжаем разговор. Как все-таки они работают? Я, кстати, заметил — здесь нет швейцара, уборщицы, официанток, штатного бармена. Оказывается, ребята сознательно отказались от строгого распределения труда, что позволило им свести к минимуму число работающих. Трудятся они по принципу взаимозаменяемости — строгая специализация только у поваров. В зале, у стойки, на мойке — ребята во всем помогают друг другу. Никакой суеты, перебранки. Никто не чурается самой «грязной» работы... Поэтому здесь и нет должностных окладов (что принято в общепите или, скажем, в кафе на Кропоткинской) — все получают поровну. Сколько, зависит от выручки. Деньги, замечу, небольшие. Пока что выручка не превышает 300 руб-

лей в месяц. Это на восемь человек.

...Передо мною меню. Вот некоторые блюда и цены на них: блинчики со сметаной — 58 копеек, с медом — 66, с брусничным вареньем — 65; яичница с зеленью, ветчиной — 75; сосиски в томатном соусе — 65; ассорти из овощей — 50; кофе — 25... И так далее — всевозможные соки, напитки, бутерброды. Интересно: довольны ли работники клуба ассортиментом, качеством пищи? Да и вообще не прогадали ли с организацией студенческого кафе?

— Полагаю, нет, — говорит заместитель директора шахматного клуба А. Г. Волков. — Мы в свое время не раз обращались в Спорткомитет, чтобы у нас в конце концов было организовано питание. В ответ — одни обещания. Здесь, как выяснилось, общепиту работать невыгодно — не тот размах. Вот и ходили наши сотрудники в поисках тарелки супа по различным организациям, учреждениям. Теперь у нас свой стол, и, замечу, неплохой. Почему с ребятами заключили договор на льготных условиях? Ну, для нас это необременительно, а им надо встать на ноги. Правда, цены на некоторые блюда, на мой взгляд, высоковаты.

— Но это все же кооперативное кафе, — подключается к беседе Александр Кузнецов. — И, как я считаю, одно из доступных. Судите сами. На Кропоткинской, 36, к примеру, яичница с ветчиной стоит 2 рубля, салат из овощей — 2 рубля, а у нас (при той же технологии) соответственно 75 и 50 копеек. Там утром кофе стоит 30, в обед 40, вечером 70 копеек, в нашем же кафе на него цена одна — 25 копеек. На Кропоткинской вынуждены торговать по таким высоким ценам, иначе им не покрыть расходов, не рассчитаться с долгами. А у нас их нет.

Надо сказать и другое. Кооператоры еще во многом — в том же формировании меню — ограничены. Они порою оказываются в весьма жестких условиях. Так, закупку продуктов они обяза-



ДЕБЮТ

Сергей
КАЛЕНИКИН,
специальный
корреспондент
«Смены».
Фото
Владимира
ВАСИЛЬЕВА

Здесь ценят
хорошее настроение.

Овощи закупаем на рынке.

Все внимание — гостю кафе.

«Каиссу» полюбили
уже и зарубежные туристы.

Кто сказал,
что первый блин
всегда комом?

ны производить либо на колхозных рынках, либо в кооперативных магазинах. Отсюда и цены на блюда. Тут крепко подумаешь, прежде чем на что-либо решишься. К сожалению, ребята до сих пор не могут найти общий язык со специалистами СЭС, которые, прикрываясь устаревшими инструкциями, постановлениями, не очень-то спешат помочь молодым кооператорам. Так, в свое время студенты представили в СЭС на утверждение 156 блюд. Санэпидемстанция утвердила только... 17, включая соки, кофе.

А пока мне предлагают такую новинку — фруктовый торт «Тутти-фрутти». Выясняется такая подробность: этот необычный по вкусу торт можно попробовать только здесь и еще в Риге.

Нет, ребята его не выпекают — торты им поставляет молодая женщина, которая занимается индивидуальной трудовой деятельностью. С ней у них договор. Похвальное сотрудничество. И оно расширяется.

Так, районный кооператив «Интерьер» бесплатно оформляет студенческое кафе, а «Каисса» берет на себя обязательство рекламировать его продукцию.

Но ребят всерьез беспокоит не только оформление кафе, но и сама работа, ее содержание. Подумывают, как сделать ее интереснее, разнообразнее. И полезнее. Скажем, есть такая идея. В субботу и в воскресенье кафе пустует — шахматный клуб выходной. Вот и хотят кооператоры организовать в эти дни молодежные вече-

ра. Действительно, почему бы здесь не кипеть всевозможным диспутам, не быть литературным, шахматным вечерам? Мало ли интересов у молодых? Но это не значит, что вход в кафе был бы строго ограничен, только для избранных. Отнюдь. «Каисса» приглашает всех.

А как же студенты совмещают учебу с работой? Ведь она требует немалых усилий, времени. У ребят особых проблем тут нет. Если летом они работали в одну смену (с 14 до 21 часа), то с осени режим иной — две бригады по четыре человека трудятся через день. С успеваемостью все в порядке. В их штатном расписании нет даже троечников. А самое главное — для студентов кооперативное кафе представляет немалый профессиональный интерес. На его базе они мечтают создать хозрасчетный научный центр по внедрению новейших технологий приготовления пищи, организации научно обоснованного питания...

Планы, что и говорить, с размахом! Однако не за горами то время, когда с институтом придется расстаться. Какова же будет дальнейшая судьба кафе да и самих ребят?

— Думаю, к тому времени все прояснится, — замечает Александр Кузнецов. — Если на базе кафе будет создан центр (или лаборатория) по внедрению новейших технологий приготовления пищи, то он станет институтским подразделением, в котором мы и продолжим свою работу. Это, так сказать, идеальный вариант. Есть и другой. По существующему положению несколько человек могут постоянно трудиться в кооперативе с отрывом от производства. Возможно, кто-то из нас останется. С пополнением проблем не будет — желающих работать в кооперативном кафе предостаточно.

Студенческое кооперативное кафе, организованное при шахматном клубе, на наш взгляд, заслуживает самого пристального внимания. Хотя бы потому, что ребята предлагают решение одной из серьезных городских проблем, подсказывают, как можно реально организовать питание в небольших учреждениях, на предприятиях, которые так упорно обходят своим вниманием общепит. Предлагают и делают дело.

Конечно, не все еще получается у студентов, непросто им утвердиться, наладить работу. Тут крайне мало одного желания, энтузиазма. Нужны какие-то навыки в кооперативной торговле. А если их нет? Как избежать потерь, обидных просчетов, скажем, в формировании расценок, организации поставок?.. Думается, и здесь есть выход — изучение опыта других кооператоров. Однако где, чей опыт изучать? Оказывается, найти какой-либо адрес — дело непростое. Единственный источник информации — журналы, газеты, радио...

Но этого недостаточно. Нужна централизованная служба, которая бы регистрировала и квалифицированно анализировала информацию из жизни кооператоров, знакомила бы начинающих с прогрессивным, передовым опытом. Ведь сколько в стране кооперативов, о которых знают лишь только на местах! Сколько законсервировано прекрасных начинаний, любопытных инициатив! Сколько полезного можно было бы взять из опыта венгерских кооператоров! Нет необходимости говорить о целесообразности этой работы.

Так кто возьмет ее на себя? Пока же ребята идут путем проб и ошибок.



«ЗНАЙ СВОЮ РОДИНУ»

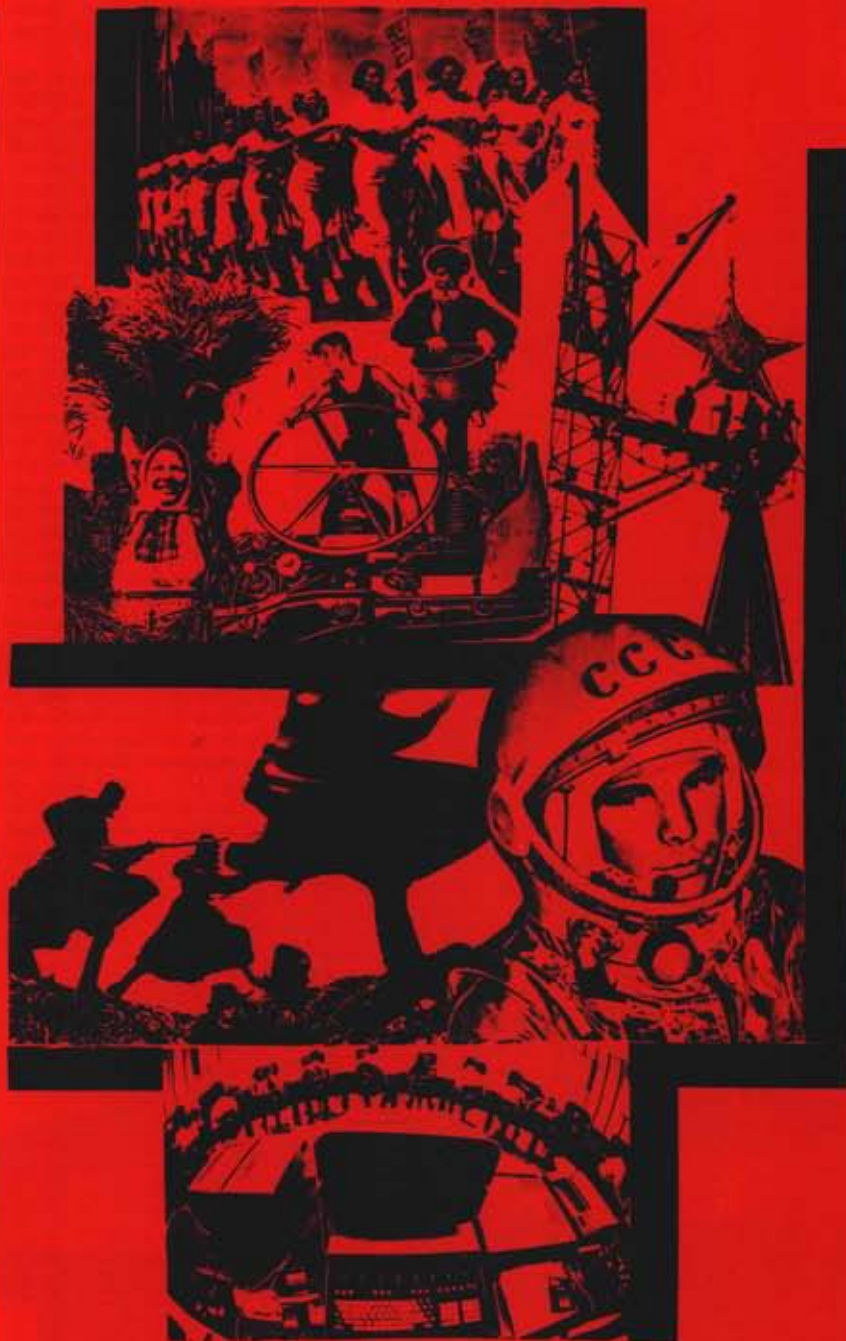
Коллаж Игоря Яковлева

Хотя интерес к викторине «Знай свою Родину», проводимой нашим журналом совместно с БММТ «Спутник», не ослабевает, а, наоборот, с каждым новым туром растет, ас-таки явно сказались летняя пора отпусков и несколько укороченный срок на поиски ответов, и на этот раз успех чаще всего сопутствовал тем из наших читателей, кто давно и постоянно участвует в конкурсах. Это и понятно. Опыт и настойчивость практически каждому из них позволили стать капитаном, который уверенно ориентируется в безбрежном море литературных источников и быстрей, чем новичок, приходит к цели. А иногда, даже найдя правильный, казалось бы, ответ, сомневается и продолжает поиски. Ему мало просто находки, он стремится к точной находке.

Скажем, отыскивая ответ на последний вопрос (названный, кстати, многими читателями самым интересным), он приходит к мысли, что выражение «гений чистой красоты» А. Пушкин позаимствовал у В. Жуковского. И действительно, читая его стихотворения, он доходит до «Лаллы Рук», где есть это выражение. Казалось бы, все ясно. Но опытный читатель находит серьезное издание В. Жуковского и заглядывает в комментарии, откуда узнает, что это стихотворение хотя и написано в 1821 году, но впервые напечатано в «Московском телеграфе» в 1827-м. А ведь «Я помню чудное мгновенье...» А. Пушкин написал не позднее июля 1825-го. Тогда читатель вновь обращается к Жуковскому и находит это же выражение в стихотворении «Я музу юную бывало...». Оно издано в 1824 году. И по содержанию шедевр А. Пушкина в известной степени перекликается с ним. Но самый дошлый читатель найдет, что в том же 1824-м была напечатана статья Жуковского «Рафаэлева Мадона». А значит, не исключено, что Пушкин читал ее, и его поразила характеристика «Сикстинской мадонны»: гений чистой красоты.

Жюри изучило все домашние работы, присланные на конкурс, кроме тех, в которых нарушены его условия. Лучшей признана работа Яны Нестеранко из Белгорода, отличающаяся интересными комментариями. Она награждена бесплатной путевкой в международный туристский центр «Спутник». Покорили жюри и работы А. Замятиной и Г. Пузырева из села Мужы Ямало-Ненецкого национального округа и Г. Мясникова из Киева. В их адрес будут высланы книги и дипломы БММТ «Спутник».

Книги получают Г. Алтуни из Москвы, А. Василенко из села Песчаное Черкасской области, Е. Васильева из Петропавловска-Камчатского, В. Воронин из Брянска, Д. Гавриленко из дер. Вишни Могилевской области, О. Голоднова из Ленинграда, Н. Данильченко из Днепропетровска, С. Журиба из села Подгорное Львовской области, В. Котов из Бирска Башкирской АССР, А. Кузнецов из Сочи, Ф. Моренец из г. Жданов Донецкой области, В. Никоноров из Фрязина Московской области, С. Одина из Губахи Пермской области, Н. Симаква из пос. Южный Алтайского края, А. Юдин из Сафонова Смоленской области. Все читатели, которых мы называли, награждены, кроме того, дипломами «Смены».



Ими отмечены также работы Д. Аминова из Северодонецка Ворошиловградской области, И. Булако из Витебска, А. Виссарионова из Армавира Краснодарского края, О. Ильиной из Саратова, З. Калимбетовой из Донецка, К. Килианика из Днепропетровска, К. Кондратьевой из Москвы, С. Левитской из Днепропетровска, В. Майора и его сына Кости из Нальчика, Т. Русаковой из Макеевки Донецкой области, А. Сафиной из г. Салават Башкирской АССР, С. Соколова из Москвы, В. Тарабурина из Печенги Мурманской области, В. Федорова из Магнитогорска, А. Хрокова из села Большой Вясс Пензенской области.

От всей души поздравляем победителей и благодарим всех участников пятого тура.

Приводим ответы на вопросы:

1. Кремлевские куранты в полдень исполняли «Интернационал», в полночь — «Вы жертвою пали...».

2. В «Энциклопедическом словаре» М. Филиппова не позднее 1 апреля 1900 года.

3. Летчик Валерий Чкалов, доменщик Павел Коробов, ученый-микробиолог Николай Гамалея, писатель Михаил Шолохов, поэт Максим Рыльский, космонавты Герман Титов, Валерий Быковский.

4. Ованес Амбакович Кохлякян. Подпольное прозвище — «Чутык», что по-армянски значит «Цыпленок».

5. Анастасия Фоминична Купринова. Памятник установлен в городе Жодино Белорусской ССР.

6. Зиямат Усманович Хусанов. Он работает учителем в поселке Сайрам Чимкентской области.

7. В 1931 году в Ленинграде по инициативе бригадира Невского машиностроительного завода имени В. И. Ленина П. Капкова и бригадира Балтийского судостроительного завода К. Николаева.

8. Пионерка из аджарской деревни Квирике Натела Челебадзе. Звание Героя Социалистического Труда ей присвоено в 1948 году за выдающиеся достижения в сборе чайного листа.

9. В конце 1958 года на Кировском заводе в Ленинграде.

10. Бригадир первой в Иркутской области бригады коммунистического труда Бориса Гайнулина. На стройке Братской ГЭС он сорвался со скалы и повредил позвоночник. Прикованный к постели, он еще два года руководил бригадой и учился в университете. Ему был вручен Почетный знак ВЛКСМ № 1. Его посетил Фидель Кастро.

11. Балет Р. Глиэра «Красный мак».

12. Более двадцати лет назад кинематографистам для съемок фильма «Война и мир» понадобилась конница. Создали специальные кавалерийские отряды в Башкирии под руководством генерала Н. Осликовского. В процессе съемки отряды решено было сохранить. Так появился единственный в стране кавалерийский полк. Его назначение — помогать отображению героического прошлого отечественной кавалерии средствами киноискусства.

13. В 1922 году первый нарком финансов Якутской республики А. Семенов из-за нехватки денежных знаков на свой страх и риск выпустил несколько десятков миллионов рублей «якутских» денег. Их печатали на бутылочных этикетках и заверяли круглой печатью.

14. Советский музыкант Ю. Симон без репетиций дирижировал на трех концертах Лондонского оркестра, заменив больного Клаудио Аббадо. Программа включала сложнейшие произведения И. Стравинского, А. Шёнберга, Р. Штрауса.

15. У поэта В. Жуковского из стихотворения «Я музу юную бывало...» или из статьи «Рафаэлева Мадона». Оба произведения напечатаны в 1824 году.

Называем основные источники, откуда читатели взяли вопросы, отобранные редакцией для пятого тура: А. Романов и другие. Сыны голубой планеты. М., Политиздат, 1981; Н. Осипов. Железный Чутык. М., Молодая гвардия, 1971; «Баллада о матери», Минск, 1983; Г. Кулагина. Сто игр по истории. М., 1983; И. Корнеева и другие. Слово о комсомольском билете. М., Знание, 1978; «История ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации». М., Просвещение, 1983; И. Заянчковский. Твоя родословная, Акбузат, Уфа, 1983; «Хочу все знать». Л., Детгиз, 1984; «Наука и жизнь» № 1 за 1980 год; «Советские профсоюзы» № 2 за 1987 год; «Советская женщина» № 7 за 1986 год; «Труд» за 8 ноября 1986 года; «Календарь школьника-86».

Жюри также подвело итоги на самые интересные вопросы для конкурса эрудитов «Знай свою Родину». В число победителей вошли читатели и больше вопросов (вплоть до семидесяти!), среди которых много интересных. Это А. Василенко из села Песчаное Черкасской области, Д. Гавриленко из дер. Вишни Могилевской области, В. Елисеев из села Ольховка Липецкой области, Н. Каслов из Читы, В. Петрова из Томска, Л. Хомякова из Томска, Л. Чернова из Светогорска Ленинградской области, А. Козленко из пос. Широкое Днепропетровской области, М. Лобанов из Ферганы и ученица О. Попова из Тюмени. В их адрес редакция вышлет книгу и диплом «Смены».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Окончание. Начало на 6-й стр.

Много позже вступление в партию, комсомол иные стали рассматривать как необходимую ступень карьеры, как путь к совсем другим привилегиям: должности, хорошему окладу, персональной машине — словом, удобной и сытой жизни.

— Должен сказать, что удобной, легкой жизни у коммунистов-руководителей я не вижу.

Но нельзя не согласиться с тем, что некоторые люди действительно рассматривают вступление в партию как ступеньку карьеры. Учитывая эти и другие моменты, в 1985 году горком КПСС отказал в приеме кандидатами в партию пятерым, в 86-м — четверым, в нынешнем году — одному человеку. Чтобы полностью изжить подобные настроения, считаю необходимым и дальше развивать гласность. Вопросы приема в партию рассматривать только на открытых партийных собраниях, чтобы учесть мнение большего числа работающих, избавиться от келейности. Так же открыто и гласно подходить к оценке просчетов, злоупотреблений, в которых виновны коммунисты. Причем развивать гласность мы начали с самих себя: теперь регулярно публикуем в городской газете информацию о текущих делах горкома. Вот, к примеру, во вчерашнем номере сообщение о том, кого приняли, а кого и за что — поименно, невзирая на должности — исключили из партии. На местах тоже идет поиск новых форм работы, демократизации общественно-политической жизни. Например, в объединении «Сургутнефтегаз» с января введен коэффициент качества труда, по которому ежемесячно дается оценка освобожденным партийным, профсоюзным и комсомольским работникам. Плохо поработал — изволь расплачиваться премией.

Мы отдаем себе отчет в том, что есть и недовольные развитием демократии: те, кто боится, как говорилось на июньском Пленуме ЦК КПСС, оказаться под гласным контролем общества. Но этот процесс им уже не остановить.

Ну, и наконец, о праве быть первым. В конце 1983 года у нас сложилось трудное положение: Сургут впервые оказался на грани срыва плана по добыче нефти. Тогда мы мобилизовали на прорыв весь город: договорились, что партийные, комсомольские организации направят лучших людей на нефтепромыслы. И пятилетку мы сделали.

— Николай Григорьевич, на новом этапе развития страны комсомол ищет свое место, свою роль в перестройке. Общие направления в решении этой задачи выработаны на XX съезде комсомола. Но ведь в конечном счете все будет зависеть от практической работы на местах. Станет ли комсомольская организация реальной, влиятельной силой на предприятии? Поднимет ли свой авторитет, станет ли центром притяжения для молодежи? Перестроит ли формы и методы работы в соответствии с новыми задачами?

— Трудные вопросы... Но от их решения зависит эффективность работы комсомола. Думаю, здесь уместно обратиться к конкретному поучительному примеру — опыту работы с молодежью в управлении «Быстринскнефть». Здесь предприняли практические меры, чтобы привлечь комитет комсомола к управлению производством, дать ему реальную возможность влиять на материальное положение молодежи, решение ее социальных и бытовых проблем.

В таких вопросах, как перемещение по службе молодых людей, предоставление жилья молодым семьям, распределение мест в детских садах, зачисление в резерв на высшую должность, прохождение стажировки молодыми специалистами, направление на учебу в вузы и техникумы, — в этих вопросах решающую роль играет именно комитет комсомола. И молодежь потянулась в комитет со своими проблемами, зная, что только там может их решить. Кстати, секретарь комитета

комсомола является также заместителем начальника управления по работе с молодежью. Этот статус позволяет ему участвовать практически во всех делах предприятия.

Распространилась здесь и такая форма работы: комитет комсомола и администрация совместно разрабатывают текущие и перспективные планы. Это позволяет комсомольцам направлять свои усилия на решение наиболее важных задач.

Так появилась комсомольская инициатива досрочного ввода в эксплуатацию Вахимско-Карьяунского месторождения...

— Извините, Николай Григорьевич, но сколько мы знаем формальных «инициатив»: пошумели — и забыли.

— Могут понять ваши сомнения, но в данном случае комсомольцы сделали, без всякой натяжки, большое дело. Они совместно с горкомом комсомола подключили к работе все предприятия-смежники, взяли обустройство месторождения под свой контроль и ввели его на полтора месяца раньше срока.

Администрация предприятия не боялась доверить молодежи часть управленческих функций и убедилась, что в союзе с комсомолом работа идет более эффективно. Тут действует еще и психологический момент: решения, проводимые с помощью комсомольской организации, воспринимаются молодыми людьми совершенно иначе, нежели приказы начальства. Приказ — это всегда принуждение. Если хотите — давление инициативы. Нетрадиционные, неформальные, непроцедурные способы обращения к молодому человеку как раз и пробуждают тот мощный потенциал, которым обладает молодежь.

— Распространенный нынче термин «ускорение» подразумевает не только количественный рост объемов производства. Это прежде всего переход к новым поколениям техники, технологии. Хотелось бы сейчас вспомнить, что именно тюменцы придумали и внедрили блочно-комплексный метод строительства. Это был поистине революционный переворот в технологии строительства! Есть ли сейчас подобные масштабные идеи? Я имею в виду, разумеется, не только строительство.

— Революционные решения должны произойти в направлении автоматизации производства. Нефтяная промышленность в этом отношении самая, пожалуй, отсталая. Слишком долго считалось, что нефтедобыча — ремесло простое, не требующее инженерного творчества, научно-технического развития. Свою роль сыграла и общая самоуспокоенность, родившаяся тогда, когда нефть била фонтанами.

Сейчас положение меняется. Кажется, все поняли, что нефтяная промышленность больше не может идти экстенсивным путем, поглощать такое же количество трудовых ресурсов, как и раньше, — это непозволительная роскошь. Мы начали сокращение численности за счет внедрения автоматизации, микропроцессоров, АСУ, персональных компьютеров. Как видите, я говорю о технике, но ее внедрение быстро скажется на условиях работы и быта людей. Понятно, что, не увеличивая число работников, мы быстрее сможем обеспечить им больший комфорт на работе и дома, быстрее решить и социальные проблемы.

Делаются пока первые усилия в этом направлении, но результаты уже ощутимы. Есть компьютеры на нефтепромыслах. На кустовых дожимных станциях впервые внедрена безлюдная технология. Эффект автоматизации — экономия и надежность. Например, только в управлении «Быстринскнефть» полторы тысячи скважин. Если где-то случался прорыв трубы, надо было ехать, искать место аварии. А сейчас автоматика точно указывает место.

— Николай Григорьевич, вы сами подвели меня к неприятным вопро-

сам. В окружной газете «Ленинская правда» была напечатана очень резкая статья «Край непуганых временщиков». Это о нефтяниках. О том, что, «штурмуя недра», они нещадно калечат Сибирь, заливают водоемы губительной для всего живого нефтью. Словом, «после нас хоть потоп». Речь в статье идет в основном о ваших соседях — самотлорских нефтяниках. Но ведь проблема, насколько я знаю, общая. Только за полтора года на объектах Главтюменнефтегаза произошло более семидесяти аварий, восемь тысяч тонн нефти вылилось на землю, попало в водоемы.

— Да, вопрос очень больной. Нефтяники действительно наносят ущерб природе. Но далеко не всегда они в том виноваты.

— А кто же?

— Отраслевая наука мало занимается экологией. Проектные институты включают в свои планы пункты о сохранении природы, но чисто формально. На сегодняшний день у нефтяников нет диагностической аппаратуры, приборов, которые давали бы информацию, что вот на таком-то участке нефте- или газопровода пора выполнять профилактические работы. Методы антикоррозийной защиты труб не совершенствуются. Система сигнализации, быстрого обнаружения прорывов во многих местах отсутствует. Откровенно говоря, мы даже не знаем, как эксплуатировать месторождение, чтоб соблюсти полную экологическую чистоту, — наука не разрабатывает эту тему.

Еще такой момент. Существуют приблизительные нормативы эксплуатации труб — примерно пятнадцать лет. А мы интенсивно эксплуатируем их и двадцать, и двадцать пять, пока чего-нибудь не случится. Должны быть научно обоснованные, жесткие нормативы эксплуатации. И обязательно надо предусматривать средства на своевременную замену труб.

...Мы слишком долго гордились тем, что тюменская нефть — самая дешевая. А стоило ли гордиться?.. Может быть, потери, которые наносятся природе, несоизмеримы с доходом от продажи нефти. «Взять нефть и уйти» — такая психология, к несчастью, еще не изжитая. Пора перестать считать экологию делом второстепенным. Сегодня она должна наконец выйти на первый план. Стоит задуматься: что оставим потомкам, что они скажут о нас?

Мы, конечно, не сидим сложа руки — требуем, добиваемся. Но нужно вмешательство самой широкой общественности, чтобы изменить сложившуюся обстановку и отношение к экологическим проблемам Западной Сибири. Долгое время они остаются как бы в тени... Общественное мнение предотвратило поворот северных рек, спасает Байкал. Такой же мощный голос должен прозвучать и в защиту Западной Сибири.

— Года два назад, когда в Сургут приехали руководители многих ведомств, причастных к освоению Западной Сибири, вы организовали выставку оборудования, получаемого с разных заводов. Претензий к качеству техники у буровиков и нефтедобытчиков было много. На той встрече с ответственными работниками министерств была разработана конкретная программа по улучшению качества продукции, включающая более тысячи пунктов. Как она выполняется?

— Недавно в Сургуте прошло совещание по поводу выполнения программы. Представители министерств отчитывались по каждому данному им заданию. Что сказать? В целом сдвиги есть. Качество поставляемого оборудования заметно улучшилось, но это по сравнению с тем, что было. А если сравнить с тем, что надо, то качественного скачка в повышении качества — извините за невольную тавтологию! — мы еще не видим. Качество плохое даже там, где введена госприемка! Чтобы не быть голословным, приведу несколько цифр. Только за девять месяцев этого года объединение «Сургутнефтегаз» составило 58 рекламационных актов. Забра-

ковано две тысячи обсадных труб! В основном это продукция никопольского Южнотрубного завода и Азербайджанского трубопрокатного завода.

— Почему, на ваш взгляд, нет качественного скачка в качестве?

— Для нас ясно одно: надо менять технологию на заводах-изготовителях, внедрять прогрессивную технику. Отсталость в одной отрасли неизбежно влечет за собой отставание в смежных отраслях. До сих пор недопустимо велик срок от разработки нового оборудования до его появления на нефтепромыслах.

— А появилось ли в последнее время что-то принципиально новое у буровиков или нефтедобытчиков?

— Если не считать начавшегося процесса автоматизации нефтедобычи, то революционных новшеств нет. Что-то меняется, улучшается, но по мелочам. Вот, скажем, сделаны и проходят испытания в Нефтеюганске две утепленные буровые установки. Но возникает вопрос: а нужно ли вообще совершенствовать традиционную буровую установку? Не лучше ли спроектировать принципиально новую — самоходную, автоматизированную?

Или возьмем станок-качалку для добычи нефти. Сколько уж лет этому изобретению! Конечно, станок за многие годы менялся внешне, становился мощнее. А может, вообще упразднить эти громоздкие, металлоемкие агрегаты, найти новый вид оборудования? В США, например, придумали, обходятся без качалок. Да и наши инженеры давно разработали гидропоршневые насосы для подъема нефти...

Большие надежды вселяет предстоящий массовый переход на новые условия хозяйствования, расширение прав и самостоятельности предприятий. От того, насколько полно коллективы используют предоставляемые им права хозяев, зависит судьба научно-технической революции.

— А социальное обновление — что оно в конечном счете несет человеку?

— Партией выдвинуты задачи, решения которых существенно улучшат условия труда, жизни и быта людей, оздоровят морально-духовную атмосферу. Речь идет прежде всего о решении продовольственной и жилищной проблем, о товарах народного потребления и сфере услуг, укреплении дисциплины и порядка. Крупной социальной задачей для нашего города является ликвидация временного жилья...

Только в прошлом году мы снесли более тысячи временных строений, переселили в новые дома 1200 семей. А к концу пятилетки уберем все эти балки. Крупные сдвиги произойдут и в развитии, укреплении материальной базы учреждений культуры и спорта, здравоохранения, зон массового отдыха, в строительстве пищевых предприятий, сфере услуг.

Вообще, надо сказать, время перестройки, время обновления вызывает к жизни и незаслуженно забытые старые, и новые формы работы, хозяйствования, социальной политики. Первый опыт показывает, насколько сильны еще противоречия между требованиями обновления и инициативы, с одной стороны, и косностью и инертностью — с другой. Еще сильны бюрократизм, консерватизм. И преодолеть их может только широкое развитие советской демократии. Партия руководствуется ленинским предвидением того, что «только с социализма начнется быстрое, настоящее, действительно массовое, при участии большинства населения, а затем всего населения, происходящее движение вперед во всех областях общественной и личной жизни».

Время, в которое мы живем, по насыщенности событиями под стать революционному. И главное, что сегодня требуется от коммунистов и комсомольцев, — показать пример сплоченности, ответственности, деловитости.

Беседу вел Владимир АНИСИМОВ.



ятого мая девятьсот седьмого года делегация солдат пришла к депутатам, на Невский.

Филеры немедленно сообщили об этом в охранку; Герасимов как на грех отправился ужинать в «Кюба» с маклером Гвоздинским: играть начал на бирже по-крупному, поскольку теперь безраздельно владел информацией о положении во всех банках, обществах кредита, крупнейших предприятиях, ибо агентура осведомляла их ежедневно: основанием для постановки негласного наблюдения за денежными тузами явилось дело миллионера Морозова (давал деньги большевикам) и безумие капиталиста Шмита (возглавил стачку рабочих на своей же фабрике на Красной Пресне).

Сообщение филеров о начале коронного дела получил полковник Владимир Иезекилевич Еленский, ближайший друг подполковника Кулакова, у которого Герасимов отобрал Шорникова.

Дудки тебе, а не коронная операция, подумал Еленский о своем начальнике, опустив трубку телефона; перебежешь; ишь, к премьеру каждодневно ездит; пора б и честь знать; за провал операции отправят голубчика куда-нибудь в тьмутаракань, клопов кормить, а то и вовсе погони отымут, в отставку.

Еленский достал из кармана большие золотые часы «Павла Буре», положил их перед собою и дал минутной стрелке отстучать пятнадцать минут. Думские социал-демократы — люди многоопытные, конспираторы, голову в петлю совать не намерены, солдат с наказом быстренько спровадят.

Через пятнадцать минут личная агентура Еленского сообщила, что солдаты уже покинули думскую фракцию, тогда только он и объявил тревогу по охране.

Когда на Невский ворвались жандармы, в кабинетах фракции социал-демократов никого, кроме депутатов Думы, не было уже; руководивший налетом ротмистр Прибылов растерялся, ибо Герасимов загадочно сообщил ему, что у депутатов будут солдаты; через час прибыли чиновники судебного ведомства, начался обыск; наказа, понятно, не обнаружили.

Обо всем случившемся Герасимов доложил около полноты, когда в самом благодушном настроении после заключенной сделки вернулся домой; выслушав сообщение, похолодел — крах, провал, конец карьеры.

Ринулся в охранку; отправил наряд в казармы, приказав арестовать всех солдат (каждый член делегации, посетивший фракцию, был известен ему от Шорниковой); введенный в операцию матрос морского экипажа Архипов (впрямую агентом не был, но отдельные услуги оказывал и раньше) сразу же рассказал прокурорским то, что ему было предписано заранее.

Копию наказа, спрятанную в сейфе, без которого все дело лопнуло бы, как мыльный пузырь, Герасимов передал прокурору; агент Архипов заученно подтвердил подлинность текста; несмотря на колебания кадетов, часть из которых склонялась к тому, чтобы выдать правосудию социал-демократических кандидатов, общее голосование Думы порешило отказать правительству: «Дело дурно пахнет, чувствуется провокация охраны, нужны более весомые доказательства».

Что и требовалось доказать!

Третьего июня девятьсот седьмого года вторая Дума была распущена; социал-демократов засудили на каторгу; новый выборный закон гарантировал Столыпину послушное большинство; Запад и левые издания в России прореагировали на процесс однозначно: «Террор самодержавия продолжается! Свободы, «дарованные» монархом, — миф и обман, несчастная Россия».

Именно поэтому процесс над депутатами первой Думы Столыпин решил провести мягко, ибо судили не левых, а в основном кадетов, — с этими можно хоть как-то сговориться, несмотря на то, что болтуны, линии нет, каждый сам себе Цезарь; покричат и перестанут; у народа короткая память; пусть потешатся речами профессоров и приват-доцентов, важно, чтобы поскорее забыли о том, что и как говорили в военном суде социал-демократы второй Думы.

Именно поэтому Герасимов и не торопился на вечернее заседание суда, а обдумывал новую комбинацию, ту, которая должна будет вознести его. На меньшее, чем товарищ министра внутренних дел, он теперь не согласен...

Обедал Герасимов у себя на конспиративной квартире, в маленьком кабинетике для отдыха. Подали стакан бульона из куриных потрохов, — эскулапы рекомендовали лечить почки и печень старым народным способом: вареной печенкой и почками цыплят, ибо птицы и животные созданы по образу и подобию человеческому. Само собою разумеется, их органы содер-

жат те же вещества, что и человеческие, — вот вам и дополнительное питание для пораженных регионов организма; Герасимов страдал почечными коликами и увеличением печени; потроха помогли, стал чувствовать себя легче после визита к доктору Абрамсону; вот бы жидовне и заниматься медициной, а ведь нет, все в политику лезут, змеи проклятые...

На второе Герасимову была приготовлена вареная телятина, овощи на пару и немного белой рыбы; готовил обед старик Кузнецов, в прошлом агент охраны; большой кулинар, мастер на выдумки; пописывал стихи, кстате.

Заклучив обед чашкой кофе (несмотря на запрет врача, не мог отказать себе в этой маленькой радости), поднялся, отчего-то явственно вспомнил лицо мужчины с блокнотиками, сидевшего рядом в зале судебного заседания, и чуть не ахнул: господа, да уж не Доманский ли это?!

Срочно запросил формуляр, принесли вскорости; хоть внешность и изменена, но ведь соседом-то его был Дзержинский, кто ж еще?!

Вызвав наряд филеров, лично объяснил им, что брать будут одного из наиболее опасных преступников империи; поляк; гордыня; что русский снесет, то лях не простит, так что оружие держите наготове, может отстреливаться; нужен живым, но если поймают, что уходит, бейте наповал.

На вечернее заседание Феликс Эдмундович не пришел, ибо, сидя в чайной на Литейном, заметил восемь филеров, топтавших здание суда; ничего, приговор можно получить у корреспондента «Тайма» Мити Сивкина, тем более что ждать открытой схватки в зале не приходится.

Дзержинский начал просматривать левые газеты, делать подчеркивания (поначалу было как-то стыдно мараить написанное другим, — отчетливо представлял, что и его рукопись могут эдак же царапать). Особенно его интересовала позиция социалистов-революционеров в деле процесса над первой Думой; многие его друзья принадлежали к этой партии, — люди фанатично преданы идее; пусть ошибаются, — ставка на крестьянскую общину во время взлета машинной техники наивна, обрекает Россию на стремительное отставание от Запада, — но в главном, в том, что самодержавие должно быть сброшено, они союзники; а если так, то с ними надобно работать, как это ни трудно.

Юлиан СЕМЕНОВ



Дзержинский сидел возле окна; устроился за тем столиком, где стекло не было сплошь закрыто; навыв конспиратора. Впрочем, и в детстве, в усадьбе паленьки, всегда норовил расположиться так, чтобы можно было любоваться закатами — они там были какие-то совершенно особые, зловещие, растекавшиеся синекрасным пожарищем по кронам близкого соснового леса...

Читал Дзержинский стремительно; всегда любовался тем, как работал Ленин, — прямо-таки устремлялся в рукопись, писал летяще, правки делал стенографически споро, говорил быстро, атакующе — ничего общего с профессорской вальяжностью Плеханова; патриарх русского марксизма весьма и весьма думал о том, какое впечатление оставит его появление на трибуне. Ленина не интересовала форма, он не страшился выглядеть задирой; дело, прежде всего дело, бог с ней, с формой, мы же не сановники, прилежные привычному протоколу, мы практики революции, нам пристало думать о сути, а не любоваться своей многозначительностью со стороны, пусть этим упиваются старцы из Государственного совета...

Дзержинский, видимо, просто-напросто не мог не поднять голову от эсеровской «Земли и Воли» в тот именно момент, когда Герасимов вылезал из экипажа, а под руку его поддерживал филер.

Дзержинский моментально вспомнил вокзал, Азефа, сядившегося в экипаж этого же человека, неумело водружавшего на нос черное пенсне, и почувствовал, как пальцы сделались ледяными и непослушными, словно у того мальчишки, что продавал на морозе газеты.

Через несколько дней Дзержинский встретился с членом подпольного бюро эсеров товарищем Петром¹.

Разговор был осторожным; обвинение в провокации, да еще такого человека, как руководитель Боевой Организации и член ЦК Евно Азеф, дело нештучное.

Поэтому, постоянно ощущая сторожкую напряженность собеседника, Дзержинский задал лишь один вопрос:

— Мне бы хотелось знать: давал ли ваш ЦК санкцию на встречу с одним из руководителей охраны кому-либо из членов боевой организации партии?

— Товарищ Астроном, я могу не запрашивать ЦК: мы не вступаем ни в какие контакты с охранкой. У вас есть сведения, что кто-то из наших поддерживает связи с палачами?

— Я всегда страшусь обвинить человека попусту, — ответил Дзержинский. — Тем более если речь идет о революционере... Поэтому я ничего не отвечу вам. Но советую этот мой вопрос передать товарищам Чернову или Зензинову. Он не случаен.

— Может быть, все-таки назовете имя подозреваемого?

— Нет, — задумчиво ответил Дзержинский. — Полагаю это преждевременным.

— Хорошо. Я передам ваш вопрос в ЦК. Но вы, видимо, знаете, что в последнее время появилось много толков о провокации в нашей боевой организации... Называли даже имя товарища Ивана... Смешно... Это то же, что упрекать Николая Романова в борьбе против монархии... Явные фокусы полиции, попытка скомпрометировать лучших. Иван — создатель боевой организации, гроза сатрапов...

— Вы имеете в виду Азефа? — спросил Дзержинский и сразу же пожалел, что задал этот вопрос, так напрягся собеседник. — Мне всегда казалось, что истинным создателем боевой организации был Гершуни... Яцек Каляев много рассказывал о нем...

— Знали Каляева?

— Он был моим другом, товарищ Петр.

— А мне он был как брат... Я смогу ответить вам через неделю, товарищ Астроном.

— Тогда это лучше сделать в Варшаве. Ваши знают, как со мной связаться, до свидания.

Этой же ночью Дзержинский выехал в Лодзь...

КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАГОВОРА

Из Лодзи Дзержинский отправился в Берлин; Роза Люксембург проводила совещание членов ЦК, — ситуация того требовала: разгром революции предполагал новые формы борьбы.

Поздно ночью, когда на квартире остались только Тышка, Ледер и Дзержинский, она заметила:

— Не знаю, права ли я, не выноса на суд товарищей мнения и чувствования... У меня такое ощущение, что в Петербурге началась мышиная драка за власть.

— Полагаешь, мы должны учитывать и это в нашей борьбе? — осведомился Дзержинский.

— С одной стороны, грех не учитывать разногласия между врагами, — искусству политической борьбы надо учиться, мы в этом слабы, но — с другой — вправе ли мы позволять себе опускаться до такого низменного уровня, не поддающегося логическому просчету нормальных людей, каким характеризуется ворохающийся заговор в Петербурге? Не измелчим ли мы себя? — задумчиво сказала Люксембург.

— Какой заговор?! — Ледер пожал плечами. — Менжинский рассказывал кое-какие эпизоды о том, как там сражаются партии царедворцев, чтобы приблизиться поближе к трону... Обычная возня, свойственная абсолютизму... Заговор предполагает наличие персоналий. Нужен Кромвель. Или Наполеон. В России таких нет.

¹ Псевдоним Арона Каца, казненного в 1909 году.



АФРИКАНСКАЯ СТРАУСОВЫЯ ПЕРЬЯ!!

Известная африканская фирма, предст. которой в состою, поручила нам для скорого распрот. своих перьях с. Гус-син, продавать 100,000 шт. за 1/4 часть их стоимости. Имя-ное и вышнее страус. перо 40 с/м. длин. вышето 6 р. 50 к. — 1 р. 60 коп. Лучшего качест., длин. 50 с/м. вышето 6.—2 р. 25 коп. Самого выш. кач., длин. 55 с/м. вышето 6.—3 р. 25 коп. Сорт. «ЭКСТРА», длин. 60 с/м. вышето 6.—4 руб. Роскошный и вышней страус. «ПЮРЕЗЪ» выш. кач., длин. 55 с/м., шир. 35 с/м. вышето 24 руб. 6 руб.; длин. 65 с/м., шир. 40 с/м. вышето 28 руб.— «Сирь салтанъ», длин. 40 с/м. за 1 дюж. вышето 8 руб.— эти перья можно носить 10 лет, и они всегда влажны. — 45 коп. отъ шт. При выкаст 2-х шт. и-— сь налог. плат. по почт. Если не-— Адресовать: гор. Лодзь, № 14.

ОБИТЕЛЕЙ

коллекционеру. — 4-1
арин. жанра. — 20 шт. разн. по получе-
лакан. или простои
вотч. ам. 94 отд. Н.
ть справочи. книга Попова.
Д. Н. Лавясы-Лавда: «От-
быланию военной повинности»
право на отсрочку и какъ ее
ча 1 р. (съ перес.). Адрес:
СПБ., Можайская, 39. — 200

О-де-Колонь
и ДУХИ
РОЗИ
(LES P-
VDO
'KO

РИМОСТЬ

— Зато Азефы есть,— жестко сказал Дзержинский.— Точнее говоря, Азеф.
— Не уподобляйся Бурцеву,— заметил Ледер.— Он чуть ли не публично обвинял Евно в провокации.
— Вполне возможно, что он поступает правильно,— ответил Дзержинский и рассказал собравшимся о том, как видел члена ЦК эсеров, садившегося в экипаж Герасимова.
— Не верю,— отрезал Тышка.— Ты мог обознаться, Юзеф. Не верю, и все тут. Да, барин от революции, да, внешность отталкивает, сноб и нувориш, но ведь он рисковал головой, когда организовывал покушение на Плеве и великого князя Сергея! Он организовал, именно он, Азеф!
— Все же я бы просил передать мое сообщение Бурцеву,— упрямо возразил Дзержинский.— Я ему доверяю. И еще я прошу,— он обернулся к Люксембург,— поручить нашим товарищам в Париже разыскать на улице Мальзерб, шесть, Андрея Егоровича Турчанинова... Это бывший охранник, который очень и очень помог нам в деле с полковником Поповым, вы помните... Весьма информирован; полагаю целесообразным включить его в это дело... Как и все мы, я отношу себя к идейным противникам товарищей эсеров, однако невозможно мириться с тем, когда честнейшие подвижники революции, вроде Сазонова и Яцка Каляева, гибнут по вине провокатора...
— Хорошо,— согласилась Люксембург.— Думаю, против Турчанинова возражений не будет.
Возражений не было, согласились единогласно; только Здислав Ледер убежденно повторил:
— Но вот что касается заговоров в Петербурге,—

ты не права, Роза. Не следует выдавать желаемое за действительное. Не такие же они идиоты, эти сановники, чтобы рубить сук, на котором сидят! В единстве их сила, они друг за дружку кого угодно уничтожат; милые бранятся — только тешатся...
Тем не менее Люксембург была права.
Именно после разгрома первой революции в Петербурге начал зреть заговор. Точнее говоря, заговоры, в подоплеку которых стояли сугубо личные интересы сановников, обойденных кусками пирога при дележке портфелей и сфер влияния.
В мозгу Герасимова концепция государственного заговора родилась не сразу; работая бок о бок со Столыпиным, он постоянно думал, как сделать карьеру; понял, что премьер прямо-таки алчет террора,— в первую очередь для того, чтобы оправдать в глазах общественного мнения свой безжалостный курс; вице-лиц понаставили не только на Лисьем Носу, но и по всей империи: «успокоение должно быть кроваво-устрашающим».
Герасимов никогда не мог забыть, как премьер вспоминал о беседе с лидером кадетов Милюковым; встретились в первые недели столыпинского правления, когда Трепов всячески поддерживал идею коалиционного министерства.
Нервно посмеиваясь, Столыпин рассказывал Герасимову (встречались, как правило, после двенадцати, когда в охранку стекалась вся информация за день) о том, что Милюков,— ах, либерал, чудо что за конституционалист! — сразу же отчеканил: «Получив право руководить империей, отчитываясь за свои действия

перед Думой, мы недвусмысленно скажем революционным партиям о пределе свободы. В случае нужды,— если они будут гнуть свое,— поставим на всех площадях гильотины,— и не картонные, а вполне пригодные для трагического, но, увы, необходимого действия».
Разошлись в одном лишь: Милюков требовал: «Министры должны назначаться и утверждаться Думой».
Столыпин стоял на том, что должности министров внутренних и иностранных дел, военного и морского есть прерогатива верховной власти и на откуп Думе никогда отданы не будут.
Из-за этого Трепов, незримо поддерживавший Милюкова, проиграл все, что мог. Государь, удовлетворенный тем, что кончились беспорядки и героем этой победы стал Столыпин, не взял дворцового коменданта Трепова на фрегат во время традиционного путешествия по шхерам; сановные «византийцы» сразу же оценили этот жест государя; со всех сторон понеслось: «Ату, Трепова, ату его, шельмеца!» Трепов этого не перенес, умер от разрыва сердца.
Вместо бывшего своего любимца государь решил пригласить в плавание московского генерал-губернатора, адмирала Федора Васильевича Дубасова,— с ним его связывали давние узы дружества. Женатый на дочери адмирала Силягина, блестящий гардемарин Дубасов совершил кругосветное путешествие на яхте «Держава» еще в восемьсот шестьдесят четвертом году; во время русско-турецкой войны взорвал турецкий броненосец «Сейфи», — а сам-то был на маленьком катерочке «Цесаревич»; в восемьсот девяносто первом году командовал фрегатом «Владимир Мономах», на котором наследник, его высочество Николай Романов совершал плавание на Дальний Восток; в девятьсот пятом году получил звание генерал-адъютанта; по назначению совета государственной обороны был назначен в ноябре пятого года генерал-губернатором Москвы; расстрелял Пресню, за что жалован званием члена государственного совета; эсер Борис Вноровский (дважды встречался с Дзержинским на квартире Каляева; фанат террора; все доводы Юзефа о том, что исход схватки решит не бомба, а противостояние идей, отвергал без спора) бросил бомбу в карету Дубасова, когда тот возвращался из Кремля к себе домой на Тверскую; адмирал отделался царапинами.
Вноровского убили на месте — это было условие, выдвинутое Герасимову шефом Боевой Организации Азефом, осуществлявшим акт с санкции и ведома охранки, — любителя государя следовало нейтрализовать, явный кандидат на место Трепова, этого допу-

Рисунки Алексея Остроумского

стить нельзя, слишком сладкая должность, носит стратегический характер,— каждодневное влияние на государя.

Через три месяца Дубасов был уволен от должности генерал-губернатора и переведен в северную столицу; ждал назначения; эсеры-максималисты Воробьев и Березин бросили в него бомбу, когда адмирал гулял по Таврическому саду; снова пронесло; Березина и Воробьева повесили по приговору военно-полевого суда. Именно тогда, выступая в Думе, депутат Родичев произнес летучую фразу:

— Хватит мучить Россию столыпинскими галстуками!

В Думе воцарилось гробовое молчание; потом все октябристы и большинство кадетов во главе с Милюковым и Гучковым поднялись и, повернувшись к правительственной трибуне, устроили овацию Петру Аркадьевичу; тот был бледен до синевы; встал пятиминутный шквал аплодисментов (это, кстати, было началом его конца,— не понял, что такое вызовет недовольство государя, ревнив к успеху). Милюков попросил Родичева извиниться перед Столыпиным; сначала коллега не соглашался; Милюков нажал: «это мнение фракции» (мнения такого не было еще, не успели организовать); в конце концов Родичев сдался; Столыпин, презрительно оглядев его, сказал: «Я вас прощаю»; протянутую депутатом руку не пожал, демонстративно отвернувшись; Дубасова тем не менее государь не взял на фрегат, поработал Столыпин: «За адмиралом охотятся бомбисты; ваша личность священна для народа; если рядом будет Дубасов, возможны эксцессы, которые повлекут к трагическим последствиям».

Когда Герасимов получил данные перлюстрации писем высших сановников империи после овации, устроенной Столыпину в Государственной Думе, когда он явственно увидел всю меру завистливой ревности, а то и ненависти к преуспевающему премьеру среди дряхлевших, бессильных, но вхожих к государю сановников, увенчанных звездами и крестами, полковник долго и многотрудно думал, как ему следует поступать дальше.

Он остановился на том, что необходим его, Герасимова, визит к государю; он должен быть представлен монарху,— единственный в империи руководитель охраны, расстраивающий все козни бомбистов. Сделать это обязан Столыпин; понудить его к этому может обстоятельство чрезвычайное; каждый хочет выходить к государю самолично, подпускать других — рискованно, сразу начнут интригу, сжуют за милу душу, жевать у нас друг дружку умеют, чему-чему, а этой науке учены отменно.

И Герасимов задумал постадийный план: сначала он готовит поднадзорное покушение на Столыпина, а затем, когда акт сорвется и тот отблагодарит его визитом к царю, начинает спектакль царевубения. Обезвреживает и этих злодеев! Становится героем державы; должность первого товарища министра и генеральские погоны обеспечены. Затем,— если визиты к царю будут продолжаться,— санкционирует Азефу убийство Столыпина. Никто, кроме него, Герасимова, в кресло министра не сядет, нет достойных кандидатов: Трепов помер, фон дер Лауниц гниет в могиле, а Дубасов так залуган, что из дома не показывается. С этим-то Александр Васильевич и поехал к Столыпину.

Тот, однако, каждый свой день продумывал загодя; намечая удары, отступления, возможные коалиции, чередования взлетов и спадов; в чем-чем, а в остром уме Петру Аркадьевичу не отказать — самородок, слов нет; Гучков, глава «оппозиции его величества», прав, называя его «русским витязем»...

Поэтому разговор Герасимова и Столыпина, состоявшийся в тот достопамятный день, представляет значительный интерес для каждого, кто вознамерится понять ситуацию той поры, царившую в империи.

Поначалу Герасимов, в своей неторопливой, вальжной манере, рассказал последние новости, ознакомил премьера с содержанием перехваченного письма одного из лидеров левых кадетов доктора Шингарева, бесстрашно зачитав строки, весьма горестные, если не сказать оскорбительные для Петра Аркадьевича.

Столыпин слушал Герасимова с видимым напряжением, даже чуть откинулся, словно норовил удержаться в седле норовистого коня; волнение его выдавали пальцы, нервно свертывавшие тоненький перламутровый карандаш; глаза он закрыл, чтобы собеседник не мог их видеть; они у него слишком выразительные, нельзя премьеру иметь такие глаза, или уж очки б носил, и то скрывают состояние, а так — все понятно каждому, кто может в них близко заглянуть.

— Так вот,— заключил Герасимов,— к величайшему моему сожалению, я обязан констатировать, Петр Аркадьевич, что подобных писем примерно двенадцать... И пишут это люди не простые, а те, вокруг которых формируется общественное мнение. И оно доходит до Царского Села...

— Не сгущаете краски?

— Отнюдь.

— Откуда пришли информации о Царском Селе?

— Из Царского Села же.

— Ну и что намерены предложить? Впрочем,— Столыпин, усмехнувшись, вздохнул,— быть может, и вы

изменили обо мне свое мнение? У нас на это быстро...

— Мне хочется быть еще ближе к вам, Петр Аркадьевич, чтобы служить вам броней против ударов в спину...

— Я долго раздумывал над тем, как мне провести через сферы производства вас в генералы и перемещение в министерство, куратором всего полицейского дела империи... Но вы же знаете, Александр Васильевич, как трудно работать: каждому решению ставят препоны, интригуют, распускают сплетни... Я очень благодарен за то, что вы прочитали мне это,— Столыпин брезгливо кивнул на копию письма Шингарева.— Не каждый бы на вашем месте решился... Наша религия — умолчание неприятного, стратегия — предательство того, кто покачнулся. Спасибо вам.

Герасимов, наконец, выдохнул (все это время сдерживал дыхание, будто нырял в море, силясь разглядеть желтые водоросли на камнях симезиского пляжа). Снова угадал! Эх, Станиславский, Станиславский, тебе ли тягаться с нашими спектаклями?!

— Я еще не помог вам, Петр Аркадьевич. Я только вознамерился помочь.

— Каким образом? — горестно спросил Столыпин.— Мы же тонем, Александр Васильевич, медленно тонем в трясине, нас засасывающей... Все эти хитрые еврейские штуки... Коварная задумка погубить Россию...



Герасимов чуть поморщился:

— При чем здесь евреи, Петр Аркадьевич? Слава богу, что они пока еще есть у нас,— понятно на кого сваливать собственные провалы... И помогать я вам намерен именно с помощью еврея...

— Этого еще не хватало!

— Именно так, Петр Аркадьевич, именно так... Азеф,— а он, как вы догадываетесь, не туркестанец там какой или финн,— поможет мне организовать на вас покушение... Оно будет подконтрольным с самого начала... А когда я это покушение провалю, вы доложите обо мне государю и объясните, что я и есть именно тот человек, который единственно и может,— под вашим, понятно, началом,— навсегда гарантировать безопасность и его самого, и его августейшей семьи...

Столыпин резко поднялся, походил по кабинету, остановился возле Герасимова и тихо, с пронзительной жалостью, произнес:

— Какой это ужас — власть, Александр Васильевич... Она приучает человека к неверию даже в тех, кому, кажется, нельзя не верить... Я проведу вас в товарищи министра, оттуда всего один прыжок до министерского кресла,— свято место пусто не бывает, вот вы и...

Герасимов похолодел от страха, ибо Столыпин повторил его мысль; на размышление были доли секунды; принял решение единственно правильное; поднялся, сухо кивнул:

— Прощение о моей отставке я хотел бы написать здесь же, в этом кабинете, Ваше Высокопревосходительство.

По лицу Столыпина скользнула удовлетворенная улыбка.

— Сядьте, Александр Васильевич,— по-прежнему тая скорбную улыбку, сказал Столыпин.— Полно вам. Уж и пошутить нельзя. Объясните, что нам даст организация покушения такого рода?

— Много,— играя затаенную обиду, не сразу, а словно бы через силу ответил Герасимов.— Оно даст то, что именно Азеф возглавит дело и, таким образом, получит неограниченную власть над всей боевой организацией эсеров. Это — первое. Я поставлю такую слежку за боевиками, что половина из них сляжет с психическим расстройством и они по-

требуют отменить террор, как невозможный. Это — второе. Я, наконец, разорю их казну подготовкой этого акта. А ведь эсеры без денег ничего из себя не представляют — аристократы революции, господа. Это конец бомбистам. Раз и навсегда.

Столыпин положил руку на плечо Герасимова, склонился над ним и жарко выдохнул в ухо:

— Жаль, что им придет конец. Я что? Прогнали с должности после того, как в империи настала тишина,— и нет меня. А если бы начать подобное же дело против кого иного? Кто вечен на Руси?

— На Руси вечен лишь символ самодержавия, хозяин, государь.

— И я о том,— ответил Столыпин и, резко распрямившись, сказал: — Пойдемте чай пить, Ольга Борисовна заждалась.

Когда Герасимов поднялся, Столыпин взял его под руку и тесно приблизил к себе:

— Только встретив опасность лицом к лицу, государь даст мне право свободно работать в Финляндии и ужесточить до необходимой кондиции репрессалии против поляков. Эти две позиции я без вашей помощи не решу. Понятно?

После того, как в ЦК эсеров — с подачи Азефа — начались дискуссии по поводу возобновления организованного террора, когда горячие головы взяли верх над теоретиками, когда была единодушно проголосована резолюция о поручении члену ЦК Азефу («честь и совесть партии») взять на себя подготовку покушения на Столыпина, он выдвинул два условия: во-первых, члены Боевой Организации отчитываются перед ним в каждом шаге и, во-вторых, все финансы переходят в его полное распоряжение: такое гигантское дело требует безотчетного доверия. Проголосовали: восемь — за, три — против; прошло.

Встретившись с Герасимовым (приехал на конспиративную квартиру прямо с заседания ЦК, ощущая нервическую радость из-за этого, некое приближение к ницшеанскому идеалу,— вседозволенности), Азеф сразу же взял быка за рога:

— Александр Васильевич, чтобы я смог провести операцию так, как она задумывалась, отдайте когонибудь из генералов, иначе мне будет трудно поддерживать авторитет.

Герасимов словно бы пропустил его слова мимо ушей, только рассеянно кивнул и, подвинув бутылку «шартреза», самого любимого ликера Азефа, предложил:

— Угощайтесь, Евгений Филиппович.

— Вы не ответили, Александр Васильевич. Да или нет?

— Угощайтесь же,— настойчиво повторил Герасимов,— на здоровье...

Азеф насторожился:

— Что, в доме есть еще кто?

Герасимов покачал головой, вздохнул чему-то, досадливо повторил, не отрывая взгляда от лица Азефа:

— Угощайтесь же...

Азеф, наконец, понял, поднялся, не спросил разрешения, прошел по квартире, вернулся, налил себе «шартреза» не в бокал, а в чайный стакан, жадно высосал его, загрыз яблоком и только после этого закурил дамскую тоненькую папироску с длиннющим мундштуком желтоватого, китайского картона.

Рассказав затем Герасимову в лицах о прошедшем только что заседании ЦК, Азеф много смеялся, шутил, пил стакан за стаканом, потом вдруг тяжело обвалился на хрусткую спинку ампириного диванчика и, протрезвев, тихо сказал:

— А ведь за мною смерть каждый миг ходит... Я ее вижу, когда резко оборачиваюсь... И всегда в разных обликах: то Сазонов, то Яцек Калев, то Зиночка Обкопляникова... Брошу я все, полковник, брошу и уеду за границу, силы на исходе...

Тем не менее Азеф задание выполнил; начал готовить акт против Столыпина; Герасимов поставил молодых филеров наблюдать за всеми участниками Боевой Организации; дал приказ прилепляться к объекту и не отступать ни на шаг; боевиков это повергало в смятение; началось, как и полагал Герасимов, брожение; деньги тратил, не считая; примерно третью часть переводил в Италию, на свой счет; Савинков, чудом бежавший из камеры смертников севастопольской тюрьмы, первым открыто сказал, что акт целесообразнее отменить; следует продумать новые методы борьбы с самодержавием, выработать стратегию, отвечающую нынешнему моменту.

Через месяц Герасимов передал Столыпину — для доклада государю — запись решения ЦК о временном роспуске Боевой Организации и приостановлении исполнения смертного приговора премьеру.

Столыпин доложил государю о «поражительной по своему мужеству» работе Герасимова; тот пожелал увидеть «героя».

Переступив порог монаршего кабинета, Герасимов — впервые в жизни — ощутил сладостный ужас; его потрясла молодость царя, всего тридцать шесть лет; на всю жизнь запомнил малиновую куртку офицера стрелкового полка, шелковый кушак такого же цвета, короткие темно-зеленые шаровары и очень высокие сапоги.

Подивился такту самодержца: согласно дворцовому церемониалу, полковник не имеет права сидеть в присутствии августейшей особы, даже если бы государь соизволил его пригласить в кресло; не пригласил, но и сам не сел; всю полуторачасовую беседу провели стоя возле окна.

— Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию, полковник? Велика ль опасность? Почему нельзя было предотвратить покушение на фон дер Лауница и незабвенного Мина так же, как вы сейчас предотвратили покушение на Петра Аркадьича?

— Одной из главных помех, ваше величество, — ответил Герасимов, — является свободная конституция, преобладающая год назад Финляндии. Именно там засели ныне террористы, там у них склады оружия, явки, конспиративные квартиры... А ведь это всего в двух часах езды от столицы... Финская полиция относится к нам враждебно... Работать невероятно трудно...

— Какая досада, — откликнулся государь. — Я завтра же переговорю с Петром Аркадьевичем, что можно сделать, дабы положить конец такому невыносимому положению...

— Да и Польша, ваше величество... Необходимо еще больше ужесточить меры охраны порядка в Привислинском крае...

— Но ведь это легче сделать, чем в Финляндии, — ответил государь. — Если же будут какие затруднения, делу легко помочь, подготовьте записку Столыпину, он ее рассмотрит благожелательно...

Герасимов ликовал; генеральские погоны — вот они, рядышком, протяни руку — твои.

Назавтра Столыпин сказал, что государь соизволил отметить в кругу министров: «Герасимов тот именно человек, который находится на настоящем месте».

— Поздравляю, Александр Васильевич, — улыбнулся Столыпин, — готовьте генеральский мундир.

Однако же именно после аудиенции у царя, все, кто был вхож в Царское Село, начали жевать полковника: «Болтун, красуется, сулит мир и благоволение а террор по-прежнему процветает в империи»; представление Столыпина о присвоении ему генеральского звания оказалось под сукном; началась обычная дворцовая интрига; пересуды, советы со старцами; застопорило.

Столыпин утешал, «пробьем»; был счастлив, когда Герасимов арестовал максималистов, отколовшихся от Азефа; те, во главе с Зильбербергом, действительно таились в Финляндии; агентура, — после того, как Герасимов получил свободу поступка, — легко их вытоптала; схватила, повесили в крепости; он же, Петр Аркадьевич, отправил шифрограмму и в Варшаву: «По высочайшему повелению требую безжалостно уничтожить все оставшиеся очаги революции; применять крайнюю степень устрашения».

По всей Польше началась новая волна повальных арестов, обысков и облав.

В одну из таких и попал Дзержинский; борьбу против Азефа продолжал из камеры Варшавской цитадели...

ВОТ ПОЧЕМУ РЕВОЛЮЦИЯ НЕМИНУЕМА! (I)

«Всего две недели я вне живого мира, а кажется, будто прошли целые столетия...

Сегодня я получил эту тетрадь, чернила и перо. Хочу вести дневник, говорить с самим собою, углубиться в жизнь, чтобы извлечь из этого все возможное и для самого себя, а может быть, хоть немного и для тех друзей, которые думают обо мне и болеют за меня душой.

Завтра Первое мая. В охранке какой-то офицер, сладко улыбаясь, спросил меня: «Знаете, что перед этим праздником мы забираем очень много ваших?»

Сегодня зашел ко мне полковник Иваненко, жандарм, с целью узнать, убежденный ли я «зсдек», и в случае чего предложить пойти на службу к ним... «Может быть, вы разочаровались?» Я спросил его, не слышал ли он когда-нибудь голоса совести и не чувствовал хоть когда-нибудь, что защищает дурное дело...

...Где выход из ада теперешней жизни, в которой господствует волчий закон эксплуатации, гнета, насилия? Выход — в идее жизни, базирующейся на гармонии, жизни полной, охватывающей все общество, все человечество; выход — в идее социализма, идее солидарности трудящихся. Эта идея уже близится к осуществлению, народ с открытым сердцем готов ее принять. Время для этого уже настало. Нужно объединить ряды проповедников этой идеи и высоко нести знамя, чтобы народ его увидел и пошел за ним. И это в настоящее время насущнейшая из задач социал-демократии, задач той горсточкой, которая уцелеет.

Социализм должен перестать быть только научным предвидением будущего. Он должен сделаться факелом, зажигающим в сердцах людей непреодолимую веру и энергию...

Небольшая, но идейно сильная горсть людей объединит вокруг себя массы, даст именно то, чего им не хватает, что оживит их, вселит в них новую надежду, рассеет страшную атмосферу недоверия и жажду кровавой мести, которая обращается против самого же народа.

Правительство убийц не повернет жизнь в старое русло. Не пропадет даром пролитая кровь ни в чем не повинных людей, голод и страдания народных масс, плач детей и отчаяние матерей...

...Опять был у меня полковник Иваненко. Увидев его, я задрожал, словно почувствовал противное, скользкое прикосновение змеи к своему телу. Он пришел с тем, чтобы любезно сообщить: дело передано в военный суд, обвинительный акт уже послан мне; расспрашивал, есть ли у меня книги, как здесь кормят, уверял, что, будь его воля, он бы устроил в тюрьме театр. А когда я вновь спросил его, не заговорила ли в нем совесть, он с сочувствием и соболезнованием в голосе ответил, что я не в себе.

...Ежедневно заковывают в кандалы по несколько человек. Когда меня привели в камеру, в которой я уже когда-то, семь лет тому назад, сидел, первый звук, какой я услышал, был звон кандалов. Он сопровождает каждое движение закованного. Холодное, бездушное железо на живом человеческом теле. Железо, вечно алчущее тепла и никогда не насыщающееся, всегда напоминающее неволю. Теперь в моем коридоре из тринадцати человек заковано семь. Заковывают из жажды мести, из жажды крови... Эту жажду стремятся утолить те, что находятся сверху...

...Я видел, как из кузицы вели уже закованного молодого парня. По его лицу было видно, что в нем все застыло, он пытался улыбнуться, но улыбка только кривила его лицо. Согнувшись, он держал в руках цепь, чтобы она не волочилась по земле, и с огромным усилием шел, чуть ли не бегом, за торопившимся жандармом, которому предстояло, по-видимому, заковать еще несколько человек. Жандарм заметил, как мучается заключенный, на минуту остановился и, улыбаясь, сказал: «Эх, я забыл дать вам ремень» (для поддержания кандалов) — и повел его дальше.



...Сегодня у меня было свидание с защитником. Прошло три недели полного одиночества в четырех стенах. Результаты этого уже начали сказываться. Я не мог свободно говорить, хотя при нашем свидании никто не присутствовал; я позабыл такие простые слова, как, например, «записная книжка»; голос у меня дрожал, я отвык от людей.

Адвокат заметил: «Вы изнервничались». Я возвратился в свою камеру злой на самого себя: я не сказал всего и вообще говорил, как во сне, помимо воли, и, возможно, даже без смысла.

Теперь я с утра до ночи читаю беллетристику. Она всего меня поглощает, читаю целые дни и после этого чтения хожу, как очумелый, словно я не бодрствовал, а спал и видел во сне разные эпохи, людей, природу, королей и нищих, вершины могущества и падения. И случается, что я с трудом отрываюсь от чтения, чтобы пообедать или поужинать, тороплюсь проглотить пищу и продолжаю гнаться за событиями, за судьбой людей, гнаться с такой же лихорадочностью, с какой еще недавно гнался в водовороте моего маленького мирка мелких дел, вдохновенных великой идеей и большим энтузиазмом. И только по временам этот сон прерывается — возвращается кошмарная действительность.

...В ночной тиши, когда человек лежит, но еще не спит, воображение подсказывает ему какие-то движения, звуки, подсказывает для них место снаружи, за забором: куда ведут заключенных, чтобы заковать их в цепи. В такие моменты я поднимаюсь и чем больше вслушиваюсь, тем отчетливее слышу, как тайком, с соблюдением стражайшей осторожности пилят, об-

тесывают доски. «Готовят виселицу», — мелькает в голове, и уже нет сомнений в этом. Я ложусь, натягиваю одеяло на голову... Это уже не помогает. Я все больше и больше укрепляюсь в убеждении, что кто-нибудь сегодня будет повешен. Он знает об этом. К нему приходится, набрасываются на него, вяжут, затыкают ему рот, чтобы не кричал. А может быть, он не сопротивляется, позволяет связать себе руки и надеть рубаху смерти. И ведут его и смотрят, как хватает его палач, смотря на его предсмертные судороги и, может быть, циническими словами провожают его, когда зарывают его труп, как зарывают падаль.

Неужели те же жандармы, которые стерегут нас, тот вахмистр, всегда любезный, с глазами с поволокой, предупредительный начальник, который, входя ко мне, снимает фуражку, — неужели же они, те люди, которых я вижу, могут присутствовать при этом и принимать в этом участие?! Привыкли. А как же чувствовать себя те, кто идет на виселицу? В душе поднимается страшный бунт. Неужели нет уже спасения? Сразу перейти к небытию, перестать существовать, видеть собственными глазами все приготовления и чувствовать прикосновение палача. Страшный бунт сталкивается с холодной, неизбежной необходимостью и не может с ней примириться, не может понять ее. Но в конце концов обреченный идет спокойно на смерть, чтоб все покончить и перестать терзаться.

...Все сидящие рядом со мной попались из-за предательства. Покушение на Скалона — четыре предателя; убийство ротмистра в Радоме — предатель, который сам скрылся, Соколов — предатель; Влоцлавек — предатель».

ДРУГ СУПРОТИВ ДРУГА (I)

«Директору департамента полиции
Его Превосходительству Трусовичу М. И.

Милостивый государь Максимилиан Иванович!
Интересующий департамент и петербургское охранное отделение Феликс (Юзеф) Дзержинский («Доманский», «Астроном», «Переплетчик», «Рашишевский», «Красивый», «Пан», «Дроздецкий», «Быстрый») находится в настоящее время в Десятом павильоне Варшавской цитадели, в одиночной камере, на строгом режиме; закован в ручные кандалы.

Поскольку означенный Дзержинский славится в кругах социал-демократии как один из наиболее опытных конспираторов (руководил делом постановки наблюдения за лицами, подозревавшимися революционерами в сношениях с охранкою), мы предприняли меры к тому, чтобы единственным каналом его возможной связи с «волей» оказался наш сотрудник. Для этой цели в Десятый павильон был направлен агент охранного отделения «Астров». Его арест объяснялся тем, что он, будучи членом ППС и человеком, близким к государственному преступнику Юзефу Пилсудскому, выступал с противуправительственными статьями в повременной печати, однако с бомбистами ППС не связан, что дает надежду на оправдание, если следователь прокуратуры решит передать его дело в судебную палату.

«Астров» получил возможность сойтись с Дзержинским во время ежедневных пятнадцатиминутных прогулок в тюремном двореке; расписание прогулок было подкорректировано комендантом цитадели таким образом, чтобы встреча «Астрова» и Дзержинского не вызвала никаких подозрений последнего.

Лишь на седьмой день знакомства, когда «Астров» сообщил, что его везут в суд, Дзержинский заинтересовался, не может ли он передать на волю весточку. «Астров» ответил, что возможен обыск; «боюсь оказаться невольным соучастником провала ваших товарищей, если жандармы найдут послание». На что Дзержинский сказал: «Это письмо не товарищам, а моей сестре; хочется написать правду о том, как мы здесь живем; вы же знаете, что даже письма родным цензируются, и все, что не устраивает палачей, вычеркивается черной тушью». — «Хорошо, я подумаю», — ответил «Астров», ибо был проинструктирован полковником Иваненко, что с Дзержинским необходима игра; слишком быстрое согласие может лишь насторожить его, как и чересчур резкий отказ.

К вопросу о переброске письма на волю Дзержинский более не возвращался. Накануне «поездки на суд» означенный «Астров» сказал «товарищу по борьбе», что он готов рискнуть, но письмо должно быть написано так, чтобы в случае его, «Астрова», обыска, никто не понял от кого весточка и кому направлена, ибо такого рода поступок наказуется — по тюремному расписанию о порядках — заключением в карцер.

Дзержинский пообещал быть предельно осторожным, пошутив при этом, что в карцерах он провел много месяцев, «привык, словно к тайнству исповеди; в казематах думается особенно хорошо; сытость — враг мысли; великая литература скорби, бунта, бури и натиска рождалась именно тогда, когда творцы были лишены комфорта, необходимого для защиты эволюционного развития».

На вопрос «Астрова», как ему узнать того, кому нужно передать письмо, Дзержинский ответил, что передавать не надо — следует всего лишь обронить папироску, в которую закатана весточка, у входа в суд, когда создастся обычная в таких ситуациях толча; сестра будет предупреждена, поднимет.

Из этого я сделал вывод, что Дзержинский уже обладает каналом связи, по которому он поддерживает контакт с «волей».

Получив «папироску», «Астров» передал ее нам; была сделана копия с письма Дзержинского «сестре», затем «папироску» вернули нашему сотруднику.

За «Астровым», когда его «везли» в Судебную палату, было поставлено тщательное наблюдение; он сделал все, как и предписывал Дзержинский, однако филерам — что весьма странно и мистериозно, — не удалось установить личность человека, подносящего «папироску».

Следствие по этому поводу ведется.

Прилагаю копию текста письма Дзержинского «сестре».

«Дорогая, когда я последний раз тебя видел, ты обещала узнать все, что можно, о толстяке¹. Судьба нашего толстого любимца так тревожит меня! Ведь его невинные шалости могут принести беду десяткам окружающих его юношей... Не пугай его, не вздумай говорить с ним, взывая к здравому смыслу: шалуны², ступив раз на стезю забубенной жизни, вспять вернуться не могут. Если бы ты написала мне что-то о нем, я бы, возможно, — посоветовавшись с моими соседями по несчастью, людьми высоко интеллигентными и многознающими, — мог дать тебе какой-то совет даже из этого ужасного, сырого, уничтожающего человека каземата... Думаю, что ты уже получила ответ от Владека³, он подобен лекару, знает исток и пересеченность всех недугов. Можешь сослаться на меня, хотя, думаю, моя фамилия ему не очень-то понравится, ибо он всегда враждовал с моими друзьями... Пошли ему фотографию дяди Герасима⁴, нашего кучера. Я бы тоже хотел получить фотографию дяди Герасима, чтобы затем отправить ее Анджею⁵.

И, пожалуйста, не страшись за меня. Несмотря на ужасные условия в Десятом павильоне, я чувствую себя неплохо, ибо знаю, что обвинять меня не в чем. Судить за идею? Возможно ли такое в двадцатом веке?! Хотя в нашей империи возможно все. Но это ненадолго. Все трещит и рушится, дни террора сочтены, так или иначе. Мысль бессмертна, — в отличие от плоти.

Целую тебя, моя бесценная сестрица, целуй братьев и деток.

Береги себя, мой верный и нежный друг.

Ты всегда в моем сердце.

Твой Юзеф».

Не правда ли, милостивый государь, на первый взгляд это письмо не представляет следственного интереса? Однако, вчитываясь в него, я подумал, отчего Дзержинский подписывает письмо сестре, примерной католичке, из вполне консервативной семьи, относящейся к преступной Деятельности брата с осуждением, своим революционным псевдонимом?

Оперативная работа, проведенная со знакомыми Альдоны Эдмундовой Дзержинской-Булгак, подтвердила, что ей совершенно неизвестны псевдонимы брата, под которыми тот скрывался в подполье.

Мы продолжаем расследование, но я считаю целесообразным уже сейчас, не дожидаясь более полных результатов, проинформировать Вас о произошедшем, полагая, что «толстяк» и «Герасим» вполне могут принадлежать к числу особо опасных преступников, как и некая «сестра Юзефа».

Вашего превосходительства покорный слуга полковник Заварзин».

Отправив это письмо, Павел Павлович Заварзин, начальник Варшавской охраны, не мог предположить, какую реакцию оно вызовет в Петербурге, оказавшись на столе директора департамента полиции Максимилиана Ивановича Трусевича.

Как всякий ветреный человек легкого характера, Трусевич думал легко и быстро, был доверчив и тянулся к тому хорошему, что порою придумывал для себя в беседах: «Чем больше в мире будет выявлено добра, тем легче объяснить заблудшим, на что они замахиваются и чего могут лишиться».

Именно эта его черта, а также хлестаковская склонность щегольнуть осведомленностью обо всем, что творится в «смрадном революционном подполье, у нынешних «Бесов», в свое время поставила его карьеру на грань краха, и виновником этого возможного краха был именно полковник Герасимов.

Дело обстояло следующим образом: из-за Азефа, предложившего ЦК социалистов-революционеров приостановить акты на время работы Думы, идеали-

¹ Азеф (прим. автора).

² Провокаторы (прим. автора).

³ В. Л. Буцрев, охотник за провокаторами (прим. автора).

⁴ А. В. Герасимов, начальник петербургской охраны (прим. автора).

⁵ А. Е. Турчанинов, бывший чиновник варшавской охраны, перешедший к революционерам (прим. автора).

сты партии пошли на раскол, объявив о создании группы «максималистов» во главе с крестьянином Саратовской губернии Медведем-Соколовым, истинным самородком, человеком с хваткой, лишенным страха и фанатично преданном идее террора.

Первым актом, который провели «максималисты» Медведев, была экспроприация Московского общества взаимного кредита; взяли восемьсот тысяч, начали ставить склады оружия, типографии, печатали прокламации, гудели вовсю.

Герасимов нервничал, дело пахло порохом; Столыпин не считал нужным скрывать озабоченность бесконтрольной группой бомбистов; только Трусевич был спокоен и как-то даже затаенно счастлив; премьер недоумевал; директор департамента полиции успокаивал его: «Дайте мне еще недельку, Петр Аркадьевич, и я пораду вас приятнейшим известием...»

И действительно, ровно через неделю Трусевич позвонил Герасимову и попросил его приехать в департамент по возможности срочно. Несмотря на то, что Герасимов, хоть и не впрямую, но тем не менее Трусевичу подчинялся, приехал сразу же.

— Александр Васильевич, — начал Трусевич торжественно, — я просил бы вас немедленно отзвонить в охрану и запросить ваших помощников, нет ли в карточках каких-либо материалов по эсеру Соломону Рыску?

— Если бы, вызывая к себе, вы позволили мне сделать это самому, а не помощникам, я бы прибыл



часом позже, но со всеми документами, — сухо ответил Герасимов.

(Так бы и отдал ты мне эти документы, сукин сын, подумал Трусевич; дудки; звони откуда, спрашивая при мне, контроль — всему делу голова.)

— Да ведь ко мне только-только поступила информация из Киева, — ответил Трусевич, — обрадовался, из головы выскочило... Ничего, попьем чайку, поговорим о том о сем, а ваши пока поглядят. Звоните. — И Трусевич требовательно подвинул ему телефонную трубку.

Герасимов все понял: когда кругом интриги и подсижки, рождается обостренное чувство происходящего.

Взяв трубку, назвал барышне с телефонной станции номер своего адъютанта на Мойке:

— Франц Георгиевич, я сейчас на Фонтанке (фамилию Трусевича не назвал, конспирировал постоянно; потом, впрочем, пожалел об этом). Меня интересуют материалы, какие у нас есть по «Роману», двум «Семанам» и «Ульяне». Поняли? Максималист. Отзвоните аппарату семнадцать двадцать два, я здесь.

— Возможно ли передавать данные по телефону? — несколько озадаченно спросил адъютант. — Все-таки дело касается...

Герасимов поднял глаза на Трусевича:

— Мой адъютант интересуется, можно ли такого рода сведения передавать по телефону?

— Конечно, нельзя. Пусть подвезет.

— А то, что у фамилию интересующего вас лица называл? — усмехнулся Герасимов. — Это как? Ничего? — Все барышни на телефонной станции постоянно проверяются нами, Александр Васильевич. Да и вами, убежден, тоже. Нельзя же всего бояться! В конце концов мы хозяева империи, а не бомбисты.

— Франц Георгиевич, — не скрывая улыбки, сказал Герасимов адъютанту, — по телефону передавать нельзя. Если, паче чаяния, найдут, пусть доставят сюда незамедлительно.

(Слова «паче чаяния» были паролем: адъютант тем и ценен, что понимает взгляд, интонацию и построение фразы шефа; через полчаса отзвонил в кабинет Трусевича, попросив передать Александру Васильевичу, что в «архивах охраны интересующих его превосходительство документов не обнаружили».)

Документы, однако, были: Азеф сообщил, что некий

Рысс является ближайшим помощником Медведева-Соколова и возглавляет группу прикрытия террора в организации эсеров-максималистов; весьма опасен; участвовал в нескольких актах; сейчас сидит в Киевской тюрьме; ждет смертной казни за ограбление артельщика, чьи деньги должны были перейти в фонд партии.

Походив по кабинету, Трусевич сказал:

— Нет так нет... А жаль. Я полагал, что у вас должно быть что-то интересное в сусеках. Коли так, какой смысл посвящать вас в подробности? Однако хочу предупредить, чтобы ни одного ареста среди максималистов ваши люди не проводили. Отныне я их беру на себя.

Трусевич сказал так, поскольку неделю назад Рысс обратился к начальнику Киевской охраны Еремину и предложил свои услуги в освещении максималистов, поставив непереносимым условием организацию его побега из тюрьмы. При этом он присовокупил, что ни с кем, кроме Еремину и, если понадобится, Трусевича, в контакт входить не будет.

Трусевич приказал организовать побег; во время спектакля убили тюремщика; заигрались, да и суматоха была, обычная для неповоротливой карательной системы, когда департамент полиции тайлся от охраны, та — от тюремной администрации, — тотальное недоверие друг к другу, ржавчина, разъедавшая громоздкую, нераскачиваемую машину царской администрации.

(Чтобы еще надежнее прикрыть нового провокатора, Трусевич приказал отдать под суд трех тюремных стражников за халатность; бедолаг закатали в карторжные работы; освободили только через два года, когда один уже плохо соображал и все время плакал, а другой заработал в рудниках чахотку.)

Еремин, получивший благодаря показаниям Рысса повышение (тот, однако, отдал общие сведения, ни одной явки не назвал, клялся, что оторван от максималистов, обещал все выяснять в столице), был назначен «заместителем заведывающего секретным отделом департамента полиции», то есть стал хозяином всей наиболее доверенной агентуры, — привез провокатора в Петербург.

Трусевич беседовал с Рыссом на конспиративной квартире два дня; проникся к нему полным доверием; положил оклад содержания сто рублей в месяц; поручил прислать квартиру; после этого сообщил Столыпину, что просит никому не разрешать трогать максималистов: «Спугнут всю партию, а я ее в ближайшее время прихлопну, всех заберу скопом».

Поселившись на свободе, Рысс сразу же снесся с максималисткой Климовой, сказав ей: «Делайте все, что хотите, я Трусевича вожу за нос, но имейте в виду, времени мало, он может обо всем догадаться».

Трусевич ликовал, ежедневно делал доклады Столыпину, но через неделю после появления Рысса в Петербурге трое максималистов, переодетых в офицерские формы, приехали в резиденцию премьера на Елагин остров.

— Срочные депеши Петру Аркадьевичу, — сказал старший, кивнув на портфели, которые были у его спутников.

Один из филеров заподозрил неладное, попытался вырвать портфель; тогда три боевика, проклянув лозунги эсеров, бросили портфели себе под ноги; раздался взрыв, дача окуталась клубами дыма; погубило двадцать семь человек; ранено около восьмидесяти; Столыпин отделался царапиной.

Первым на Елагин остров приехал Герасимов, следом — Трусевич; сразу же заявил, что этот акт — дело рук боевиков ППС, «проклятые поляки, Пилсудский».

— Это не Пилсудский, — скрипуче возразил Герасимов; они стояли в саду, возле искореженной ограды, — премьер, директор департамента полиции и начальник охраны. — Его людей в столице нет. Это, Максимилиан Иванович, максималисты.

— Нет, — воскликнул Трусевич, моляще глянув на Столыпина (Герасимов сразу понял, что премьер в курсе работы нового агента директора департамента; даже здесь интриги; хорош же Столыпин, побоялся сказать мне правду; и этот добром не кончит; нельзя делать несколько ставок). — Нет и еще раз нет! Смотрите по польским каналам, Александр Васильевич! Максималисты у меня под контролем.

Столыпин промолчал, а мог бы сказать то, что обя-зан был сказать Герасимову.

Вернувшись в охранку, Герасимов вызвал полковника Глазова:

— Милейший, вы с полковником Комиссаровым печатали огромные прокламации в этом здании? Да или нет? Молодец, что молчите. От гнева премьера Витте, который бы сломал вам жизнь, вас спасли мои друзья и я. Да, именно так, я, Глеб Витальевич. Так вот, извольте напечатать сто прокламаций, — где хотите, но только чтобы об этом знали два человека, — вы и тот, кто это для вас делает, — с текстом следующего содержания: «Мы, боевики-максималисты, принимаем на себя ответственность за покушение на главного российского вешателя Столыпина». Прокламации должны быть разбросаны на Невском, Литейном, у Путилова, а десять отправлены в редакции ведущих газет.

Назавтра Столыпин вызвал Герасимова, кивнул на прокламацию, лежавшую перед ним, и спросил:

— Читали максималистов? Так вот, я хочу, чтобы вы, лично вы, встретились с этим самым Рыссом. С глазу на глаз. И сообщите мне свое мнение.

— Я могу сказать об этом Трусевичу?

Подумав секунду, Столыпин ответил:

— Да, пожалуй, это надо сделать... Он близок к министру Щегловитову, а этот юридический змей вхож к государю с черного хода...

Трусевич, однако, наотрез отказался отдать Рысса; после бурного объяснения с Герасимовым отправился к Столыпину, и тот, к вящему удивлению полковника, поддержал директора департамента:

— Не гневайтесь, Александр Васильевич. Поразмыслив трезво, я решил оставить Рысса за Трусевичем. Коли Максимилиан Иванович это затеял, пусть и доведет до конца. Не надо вам проводить аресты, пусть это сделает тот, кто с самого начала держал руку на пульсе операции.

Герасимов ответил, что указания премьеры для него есть истина в последней инстанции, но, вернувшись в охрану, отдал устный приказ: начать слежку за всеми максималистами, — независимо от Трусевича.

Путем сложной, многоступенчатой комбинации он подвел к Медведю-Соколову своего агента Глеба Иванова; дал ему санкцию на все, вплоть до участия в актах и экспроприациях; тот работал отменно, стал личным адъютантом Медведей; через него Герасимов организовал информацию о том, что Рысс намерен убить Трусевича во время встречи на конспиративной квартире; материал был столь убедителен, что Трусевич испугался, перестал выходить из департамента без двух филеров и, наконец, устало предложил Герасимову самому поработать с максималистами.

После экспроприации банка в Фонарном переулке Медведь-Соколов был схвачен; вместе с ним арестовали большинство его товарищей; спустя несколько дней повесили.

А когда Рысс был арестован в Донецке, куда бежал из Петербурга (взяли его на экспроприации), он прямо сказал, что наянлся в провокаторы самолично и действительно был им, но лишь во имя конечного торжества революции: «Я вас ненавижу, пощады от меня не ждите; если даруете жизнь, я, во всяком случае, вас не пощажу, когда вырвусь на волю».

Его повесили, а Трусевич с той поры — неписанным предписанием Столыпина — был отстранен от работы с особо секретной агентурой; первый шаг к отставке; с трудом удержался, задействовав все свои связи, в первую очередь главного мракобеса — министра юстиции Ивана Григорьевича Щегловитова.

...И вот сейчас, вчитываясь в документ о Дзержинском, присланный начальником Варшавской охраны, Максимилиан Иванович споткнулся на «Герасиме»; что-то зацепило; сначала даже не понял что. А потом, когда в шестой уже раз пробежал слово «толстяк», опуская его без внимания, вдруг резко поднялся из-за стола, стукнул себя ладонью по лбу и прошептал: — Господи, да это ж Герасимов с Азефом!

Через два дня, когда были подняты все агентурные дела по Дзержинскому, директор департамента полиции убедился, что «сестрою» Юзефа скорее всего была государственная преступница Розалия Люксембург.

Ну, держись, Герасимов, подумал он со сладостным, ликующим злорадством, держись, голубы! Отольются тебе мои слезы, ох отольются!

И вместо того, чтобы объявить тревогу, — коронный агент империи в опасности, близок к провалу, засвечен человеком, славившимся среди революционеров разоблачением провокаторов. — Трусевич и пальцем не пошевелил, резолюции на записке Заварзина не поставил, рассеянно сказав адъютанту, чтобы документ отправили в архив.

После этого попросил одного из своих верных помощников снести с сотрудником Варшавской охраны полковником Иваненко и, сепаратно от Заварзина, завязать с ним доверительные отношения с целью получения доверительной информации о Дзержинском.

ПЕРЕПАД НАСТРОЕНИЙ

Вскоре после аудиенции у государя Герасимов вызвал шифрованным письмом Азефа из Италии; тот отдыхал в Сорренто, впервые изменив полюбившейся ему Ривьере.

«Милый Евгений Филиппович, был бы весьма признателен, найди Вы возможность незамедлительно выехать в Россию, дело касается меня лично. Отслужу сторицей. Искренне Ваш».

Азеф письмо сжег, отзвонил своей подруге, жившей наискосок от того отеля, где снимал апартаменты для семьи, и отправился в ресторан Дона Джузеппе (лучшая рыба и великолепное вино «Лямбруска», — красное-пузырчатое, нектар, способствует); весь вечер был грустен, совершенно не пьянел; попросил «шартрез», в ресторане не оказалось; будь неладна треклятая европейская заорганизованность; в России, с ее бардаком, — лучше: обязательно что-нибудь неучтенное, лишнее, забытое, завалится где-нибудь на полках, — только поискать; Дон Джузеппе отправил

экипаж в «Бристоль»; привезли бутылку зеленого ликера прошлого века; только в три часа ночи распустыло; ощутил желание; подругу свою (немочку из Берлина) любил испуленно; уснул обессиленный, пустой; наутро, не заходя в отель к семье, выехал в Рим, а оттуда в Россию.

...Герасимов долго тряс его руку, даже огладил плечи, неожиданно почувствовав себя Тарасом Бульбой во время встречи с любимым сыном; пригласил к столу, уставленному яствами из ночного ресторана «Альказар», где обычно гулял Савинков, подвинул любимцу «шартрез», тот покачал головою, кивнул на водку; выпил рюмку, отодвинул ее, мала; налил в фужер, выцедел с жадностью, закурил икрию и только после этого, утерев пот, появившийся на висках, спросил:

— Что случилось?

— Случилось то, что я хочу просить вас, Евгений Филиппович, взять на себя организацию царевубийства.

— А бога пощадим? — зло усмехнулся Азеф. — Или его тоже — бомбою?

— Можно и бога, — в тон ему ответил Герасимов, — но — как и царя — под моим контролем.

— Как вы себе все это представляете? — спросил Азеф. — Цель? Какова конечная цель предприятия?

— Покончить раз и навсегда с террором. И после этого отпустить вас с богом на покой.

Азеф поморщился:



— Ах, Александр Васильевич, Александр Васильевич, да что же это такое со всеми нами творится?! Отчего не верим друг другу?! Долго ли продержимся, ежели будем таиться, будто мыши, даже тех, кто нам всего ближе?! Не империя мы, а какое-то стомильное сообщество дипломатов низшего класса! Те точно так же трусливы, но их хоть понять можно — карьеру делают... Говорите прямо: вам надобна игра, чтобы укрепить свои позиции и лишний раз погугать трон?

Герасимов зашелся деланным смехом, в который уже раз испугавшись пронзительного ума Азефа; вроде Шорниковой, все счет, только та чувствует, а этот, нехристь, считает.

Азеф налил себе еще один фужер водки; выпил одним длинным глотком; ну и ну; закурил, впился кроличьими глазами в лицо Герасимову. Тот смеяться перестал, ответил тихо:

— Это нам обоим надо, Евгений Филиппович. Покудова я на коне, и вы в порядке. Последний раз вы ведь из России вывезли пятьдесят тысяч золотом, денежки Боевой Организации. И на здоровье! Я радуюсь, когда человек вашего уровня живет так, как считает нужным. Новое предприятие позволит вам взять с собою в Италию еще больше.

Азеф вздохнул:

— Ноги б унести... Следили за мной! Откуда сведения о золоте? Имеете перекрестную агентуру?

— Я — нет. А Трусевич — да.

— Имя агента?

— Не знаю. Клянусь памятью родителей. Право, сказал бы. Он, этот департаментский, мне тоже стоит поперек дороги.

Герасимов лгал; агентом была Зинаида Жуженко, адъютант боевика Сладкопевцева и его любовница; работала в Москве с Климовичем, начальником охраны первопрестольной; недавно отдала ему свою подругу Фрумкину; та готовила покушение; Зиночка сама пришла террористке потаенный карман, чтобы револьвер не был замечен, целовала перед актом, а сообщение о месте и дате уже лежало на жандармском столе.

— Предложения? — спросил Азеф, достав из кармана тяжелый серебряный портсигар. — Что вы предлагаете?

— Воссоздать боевую организацию. Понятно, под вашим началом. Нацелить ее на царевубийство.

— Так все же будем Николашу убирать? — тихо, как-то даже ликующе спросил Азеф. — Или снова игра?

— Спаси господь, — вздохнул Герасимов. — Священная особа, надежда наша, как можно...

— Вы меня интонациями не путайте, Александр Васильевич. А то ведь разорву монарха в клочья. Вы мне однозначно скажите, игра или всуерьез?

Герасимов, ужаснувшись тому, что в голове его зарохотало слово «всерьез», взмахнул даже руками:

— Евгений Филиппович, окститесь!

— Ни один мой человек не будет арестован?

— Ни один. Ни в коем случае.

— Вы понимаете, что арест хоть одного из той группы, которую я создам, будет стоить мне жизни?

— Понимаю прекраснейшим образом.

Азеф поднялся, походил по зале, потом, склонившись над Герасимовым, спросил:

— А я новым Наумовым паче случая не окажусь? Герасимов захолодел: Азеф тронул то, чего он постоянно и затаенно боялся.

Дело было в начале девяносто седьмого, когда из Царского позвонил генерал Дедюлин, самый близкий государыне человек, и, нервничая, попросил «милого Александра Васильевича» срочно приехать; Герасимов выехал незамедлительно.

— Два месяца тому назад, — начал Дедюлин, пригласив полковника погулять по парку, — казак царского конвоя Ратимов доложил своему командиру князю Трубецкому, что с ним познакомился сын начальника дворцовой почтово-телеграфной станции Владимир Наумов. Встречались несколько раз, говорили о том о сем, а потом молодой Наумов возьми да и дай казаку прочитать возмутительные прокламации. Ратимов бросился к Трубецкому. Князь поставил в известность начальника охраны государя Спиридовича. Вы ведь с ним в давнем дружестве, правда? Ну, а тот предложил казаку связей с Наумовым не прерывать, а, наоборот, еще больше сдружиться.

— Зачем? — спросил Герасимов. — Такие игры в Царском Селе рискованны, по-моему, надобно немедленно брать этого самого Наумова.

— Ну, я в подробности не входил, — сразу же отработал в сторону Дедюлина. — Видимо, Спиридович хотел выявить подлинные намерения молодого Наумова, мало ли что тот читает, сейчас все на гниль падки... Словом, Ратимов с санкции генерала Спиридовича попросил Наумова свести его с боевой группой эсеров в Петербурге. И тот вроде бы согласился... Вот почему я и пригласил вас: мы-то ведь только здесь, в Царском, сильны, а столица, а тем паче империя — словно бы другое государство.

Через час Герасимов встретился с Ратимовым. Беседовали долго.

Вместо того, чтобы арестовать Наумова, полковник решил поставить грандиозную провокацию с согласия Дедюлина и Спиридовича; понудил Ратимова поклясться перед иконами, что тот сказал правду; казак заболелся; после этого поручил ему ехать в Петербург и просить Наумова поскорее организовать встречу с бомбистами.

Поскольку Азеф знал всех членов боевой группы максималиста Зильберберга, отошедшего от его организации из-за споров по поводу методов террора, Герасимов имел все явки, поставил за ними постоянное наблюдение; конвойный казак Ратимов шел, таким образом, на встречу к подконтрольному эсеру, со провождаемый тем не менее тремя филерами: два от Герасимова и один от Спиридовича.

Принимал Ратимова эсер Снявский, — за ним постоянно смотрели люди Герасимова, знали каждый его шаг, сидели, что называется, на закорках — куда тот, туда и слежка.

Во время первой беседы Ратимов убеждал Снявского, что покушение возможно, рисовал планы прогулок государя в парке, давал советы, как туда проникнуть, — словом, провоцировал и всячески торопил с проведением акта.

Снявский долго раздумывал, соглашаться ли на вторую встречу; какое-то сомнение жило в нем; горячность, однако, возобладала, назначил свидание; решив проверить конвойца, спросил в лоб:

— А вы на себя осуществление акта возьмете? Мы снабдим вас оружием, деньгами и документами, обеспечим бегство, отправим за границу... Как?

Ратимов был заранее проинструктирован Герасимовым, что именно такое предложение скорее всего и последует; советовал не отвергать, но и не соглашаться: «Тяни время, играй колеблющегося, не бойся показать страх, все люди — люди, каждый петли боится... Посули им слать телеграммы о предстоящих выездах государя, о времени визитов великого князя Николая Николаевича и Столыпина... если клонет, запиши адрес, с кем связываться, а еще лучше, пусть Снявский сам его тебе напишет».

Снявский адреса писать не стал, но назвал улицу, дом и имя, кому такие телеграммы должны быть отправлены.

Назавтра Герасимов поручил своим людям отправить телеграмму, дождался, когда эсер-боевик из группы максималистов расписался в получении, и тут же провел налет на квартиру; телеграмма оказалась

главной уликой для предания арестованных суду военного трибунала.

Первым Герасимов вызвал на допрос Наумова-младшего.

— Вы понимаете, что вас ждет петля?! — закричал он, стукнув кулаком по столу. — Вы понимаете, что я с самого начала знал все от Ратимова?! Объясняться с вами у меня нет времени! Либо дайте чистосердечные показания и я спасу вас от смерти, либо пеняйте на себя! Вам погибель, отцу высылка, мать умрет с голода! Решайте сразу, ждать не намерен.

Наумов потек, дал показания; прошли новые аресты; восемнадцать человек предстали перед военно-полевым судом.

ЦК социалистов-революционеров принял резолюцию, что партия не имела никакого отношения к этому делу, смахивает на провокацию охранки; лучшие адвокаты России Маклаков, Муравьев, Соколов, Зарудный приняли на себя защиту обвиняемых; Наумов на суде отказался от прежних показаний, видя, как мужественно и гордо держатся другие обвиняемые; это позволило Герасимову снести с помощником военного прокурора Ильиным.

В отношении Наумова у вас теперь развязаны руки. Он повел себя как двойной предатель. Я не хлопочу за него более, принимайте такое решение, какое сочтете нужным, я в нем теперь не заинтересован.

В суд был вызван историк Мякотин; от Азефа охранке было известно, что он является членом эсеровского ЦК; арестовать его, однако, было невозможно, это бы провалило Азефа.

Мякотин выступил с блистательной речью:

— Да, социалисты-революционеры никогда не отказывались и не отказываются от того, что именно их боевка казнила великого князя Сергея, министра Плеве, министра Боголепова, генерала Мина, губернатора Гершельмана... Партия признавала то, что было ею сделано, бесстрашно и открыто. И если сейчас ЦК социалистов-революционеров категорически отвергает свою причастность к попытке провести акт, то этому нельзя верить!

Судьи дрогнули — имя Мякотина было известно многим и пользовалось серьезным авторитетом; широко, с размахом поставленная провокация оказалась на грани краха.

Помощник военного прокурора Ильин предложил вызвать в заседание суда Герасимова, как главного эксперта по революционным партиям.

Герасимов, узнав о предложении Ильина, растерялся. Его появление перед глазами родственников арестованных, адвокатуры, пригласенных расконспирировано бы его совершенно, понудив отойти от дел; не отойди сам, бомбисты наверняка разделяются в течение недели, — он не государь или там Столыпин, которых стережет сотня филеров; разнесут на куски, хоронить будет нечего.

— Хотите, чтобы меня кто-нибудь заменил в этом кабинете? — мягко улыбувшись, вздохнул Герасимов. — Чем я вас прогневал?

— Да господа, Александр Васильевич, как можно?! — Ильин искренне удивился. — О чем вы?

— О том, что, появившись в публичном месте, головы мне не сносить. Нет, нет, я ничего не боюсь, человек я одинокий, существую, а не живу, но ведь чувство долга-то во мне вертикально, им и определяю все свои поступки...

— Хорошо, хорошо, все понимаю, — по-прежнему волнуясь, ответил Ильин. — Но мы ведь можем провести выездное заседание прямо здесь, в здании охраны, на Мойке! Родственников не пушим, только одни адвокаты! Иначе дело повиснет! Провал!

Герасимов перекрасил волосы и надел черные очки; показания давал, сидя на стуле и положивши «большую» ногу на спинку стула, стоявшего перед ним, — адвокаты могли видеть лишь его затылок; подсудимых он не боялся, знал, что большинство повесят, а остальных укатают на каторжные работы: оттуда не выходят...

Правозащитник Маклаков демонстративно вышел из зала заседания, когда Герасимов потребовал, чтобы ЦК эсеров предъявил военному суду протоколы, в которых есть записи о том, что акт против царя и Столыпина отменен раз и навсегда; либеральная пресса улюлюкала: «Правосудие в охранке»; тем не менее Синяевский, Наумов и Никитенко были повешены на Лисьем Носу седьмого сентября девятьсот седьмого года; остальных закатали в каторгу; перед казнью Наумов плакал и молил о пощаде: «Мне лично Александр Васильевич обещал помилование, господа! Пригласите его сюда! Я хочу посмотреть ему в глаза»; Синяевский брезгливо поморщился: «Как вам не совестно, Наумов! Не унижайте себя перед палачами! Вы же доставляете им лишнюю радость!»

...Через неделю после той достопытной ночи, когда Азеф вновь начал раскручивать дело террора, боевики убедились, что на этот раз все кончится успехом — так серьезен и продуман был план царевубийства.

Азеф в сопровождении адъютанта Карповича (в свое время он по поручению эсеров убил министра Боголепова; поскольку был тогда еще зеленым юношей, вместо казни получил двадцать лет каторжных

работ в рудниках; организовал побег, примкнул к боевикам) изучал маршруты следования царского поезда, вышагивал проспекты, по которым двигался кортеж Николая, когда тот посещал северную столицу, выстраивал проходные дворы, заставлял боевиков репетировать каждое движение, шаг, жест; дело двигалось к концу, как случилось непредвиденное: молодой филер с цепкой зрительной памятью увидел на Невском разыскиваемого департаментом Карповича, вместе с городовым схватил его и приволок в охранку.

Как раз в это время Герасимов говорил по телефону с Царским Селом.

— Нет, государю завтра ехать в город нельзя. — Голос его был звенящим, приказным (по просьбе Столыпина царь согласился во всем следовать советам Александра Васильевича). — Его величество может прибыть в столицу лишь завтра, после полудня. (В это время Азеф уберет с улиц своих изуверов, все договорено заранее.)

Герасимов испытывал острое ощущение собственного могущества, когда по одному его слову изменялись государственные планы, переносились встречи с министрами, высшими сановниками империи, главами посольств; один его звонок, и все насмарку; ох и радость же быть всеильным, ох и счастье!

Градоначальник звонил в ужасе:

— Мне сообщили, что сегодня государь неожиданно появился на Невском, это правда?!

— Да, истинная правда, ваше превосходительство.



— Нельзя так, Александр Васильевич! Я же не могу нести ответственность за безопасность Его величества!

— Не беспокойтесь, — ликовал Герасимов, — всю ответственность — с санкции двора — я взял на себя.

Когда ему сообщили об аресте Карповича, полковник пришел в ужас, — вся его игра шла насмарку.

И действительно, вечером этого же дня на конспиративную квартиру, где Герасимов порою принимал барышень (с тех пор как жена перебежала к коллеге, полковнику Комиссарову, о женитбе не мог думать без содрогания; вызывал девиц из лучших борделей, начитанный и приятный в беседах), ворвался Азеф.

— Вы что, — прямо-таки зарычал он, — погубить меня хотите?! Вы понимаете, что наделали?! Шутки Рачковского намерены шутить?! Все! Довольно! Расхлебывайте кашу сами! Вашего паршивого царя подорвут как пить дать! Не умеете работать — на себя и пеняйте! Если арестован Карпович, а я на свободе, значит, я его вам отдал! Хватит! Остолопы! Не умеете ценить тех, кто вас же спасает от бомб! Научитесь! Разгильдяйская империя!

Герасимова подмывало ударить Азефа в висок медным подсвечником: ну, гадина, ну, мерзавец, на что замахваешься, нехристь?! Ан нельзя! Что он без него может? Ничего он без этого паразита не может; не он у меня в руках, а я! Господи, милостивый господи, спаси и сохрани!

— В течение недели я устрою Карповичу побег, — сухо сказал Герасимов, дождавшись того мгновения, когда Азеф замолчит хоть на миг. — Даю слово.

Рано утром Герасимов был в охранке; из зубров никого не пригласил: отправил экипаж за полковником Глазовым; тихоня, такие и нужны в серьезном деле; дай кость — руку оближут.

Не посвящая Глазова в существо дела, спросил:

— Как бы вы на моем месте поступили с государственным преступником, находящимся в розыскных листах департамента полиции, который случайно попался?

Чуть прикрыв рот ладошкой, Глазов кашлянул и осторожно поинтересовался:

— Видимо, вы ведете речь о человеке, который может представлять интерес? Объект вербовки?

— Нет. Этот человек не пойдет на вербовку.

— Но в нем заинтересован департамент полиции?

— Бессспорно.

— А взяли мы?

— Именно так.

Глазов покачал головой.

— Задача не из легких. Отдавать, конечно, жалко. Словно бы каштаны для господина Трусевича из огня таскаем.

— Ну, это вы перестаньте, — отрезал Герасимов, внутренне порадовавшись ответу Глазова. — Не приставайте нам делить врагов о «своих» и «чужих». Дружество, полковник, только дружество всех подразделений политической охраны даст победу... Я задумал комбинацию... И согласно плану целесообразно устроить побег человеку, арестованному нами...

— Он взят по своему документу? — поинтересовался Глазов; вопрос ставил осторожно, словно кот, — лапкой без коготков.

Ах, умен, шельмец, подумал Герасимов, эк, все сообщает; с ним нужен глаз да глаз!

— Да, — солгал Герасимов, — по своему. А что?

— Если бы по чужому, — ответил Глазов, догадавшись уже, что речь шла о Карповиче, — то можно обвинить в проживании по подложному паспорту и отправить в тот город, где арестант рожден. Для опознания личности. Ну, а по дороге чин, который будет везти его в пересыльную тюрьму для этапа, может зайти в лавку табаку купить...

— Ах, если бы он был с чужим паспортом! — снова вздохнул Герасимов. — Ладно, Глеб Витальевич (по имени-отчеству назвал впервые; новая интонация отношений; цены, Глазов, жди повышения), спасибо. Мне приятно с вами работать. До скорого...

В тот же день самый доверенный офицер шефа охранки, получив инструкции от Герасимова, вывел Карповича из камеры, посадил в пролетку, пожаловавшись, что пришлось взять частника: «Все свои в разведке»; объяснил, что везет его в пересылку, для отправки на родину, для опознания личности; по дороге мучительно зевал и плевался, играл тяжелой похмелью.

— Мне пивка надобно выпить, голова раскалывается. Вон и трактир хороший, пошли, Карпович...

В трактире офицер заказал себе два пива, арестанту — жареного картофеля с луком и салом; первую кружку выпил залпом, сыграл дурноту, поднялся, побежал в туалет; там принял к щелочке; Карпович спокойно доедал картофель, изредка оглядываясь; людей в трактире было тьма, постоянно хлопала входная дверь; да уходи же ты, черт, взмолился офицер; Карпович, словно бы услышав его мольбу, медленно поднялся и начал расхаживать по трактиру, потом шмыгнул на улицу; только б не вернулся, дьявол, подумал офицер.

Бедненький, думал между тем Карпович, погонят теперь охранника со службы, нарушил присягу, упустил меня, бедолага...

Вскорости оказался в безопасности, на квартире Азефа; тот, предупредивший Герасимовым, сыграл изумление, пустил слезу; прижал к груди, прошептал: «Герой, ну, ты герой, Карпович! Прямо из охранки сбежать — такого еще не было! Ну, слава богу, теперь за дело! Месть тиранам!»

...Через два дня Азеф сообщил Герасимову — умел благодарить за услугу, — что в Петербурге появились люди из Северного Боевого Летучего Отряда; работают сепаратно, ЦК не подчиняются, поступают на свой страх и риск, опираясь на низовые комитеты партии, особенно где много студенческой молодежи.

— Это не наш с вами спектакль, эти пугать не намерены, они будут и впрямь взрывать и стрелять; о них мог бы и не сообщать — не мои, но за Карповича я к вам сердцем проникся, Александр Васильевич. Ищите их, бейте тревогу, эти люди опасны.

— А фамилии-то у этих людей какие? — спросил Герасимов.

— Псевдонимы у них, Александр Васильевич, псевдонимы...

— Например?

— Руководителя зовут «Карл». Пока он на свободе, спокойным себя не чувствуйте, этот человек готов на все, умен и оборотист...

— Сделайте милость, Евгений Филиппович, по-встречайтесь с ним, пожалуйста, а?

Азеф поехал в Финляндию, фотографии достать не смог, во внешнем портрете путался: «нос прямой, глаза голубые», пойдись возьми такого, полстолицы придется хватать; тем не менее сообщил, что Карл готовит взрыв Государственного совета, а в нем заседают все те сановники, из кого государь тасует колоду министров, — не Милюкова же с Гучковым пускать к власти!

— Карл посещает заседания Государственного совета, — заключил Азеф, как всегда, отдавая главное в самом конце беседы, — под видом иностранного корреспондента...

Зацепка.

Карла удалось взять; участник событий девятьсот пятого года; фамилия Трауберг. Посешили.

Через несколько дней Азеф сообщил, что та же группа готовит акт против великого князя Николая

Николаевича и министра юстиции Ивана Григорьевича Щегловитова.

Герасимов немедленно установил дополнительные филерские посты возле дворца великого князя и дома Щегловитова.

Азеф принес новое известие: акт приурочен к годовому приему во дворце государя; Герасимов отправился к великому князю и министру, просил их отказаться от поездки в Царское.

— Да кто где хозяин?! — возмущился Николай Николаевич. — Я в моей империи или мерзавцы-бомбисты? Лучше я погибну, чем откажусь быть на приеме у государя!

Герасимов бросился к Столыпину; тот незамедлительно поехал к царю; государь повелел Николаю Николаевичу оставаться во дворце; тот нехотя подчинился; Герасимов поставил условие, чтобы великий князь и Щегловитов впредь никуда не выезжали, пока бомбисты не будут схвачены.

Герасимов торопил Азефа, встречался с ним каждый день; наконец тот принес долгожданную новость: на заседании ЦК кто-то раздраженно заметил: «Сколько раз можно откладывать акт?! Пусть Распутина поторопится, у всех нервы на пределе!»

По счастью для охраны, член ЦК назвал женщину ее подлинной фамилией, а не кличкой; агенты нашли Распутину в дешевеньком пансионате, подсадили туда двух сотрудников, которые просверлили дырочки в тонкой фанерной стене, круглосуточно наблюдая за революционеркой; ничего интересного не замечали; зато филеры наружного наблюдения обратили внимание на любопытную деталь: каждое утро Распутина приходила в собор Казанской божьей матери, покупала копейную мягкую свечку, ставила ее перед образом и начинала истово молиться, касаясь выпуклым, морщинистым лбом (проевела девять лет в каторге, постарела раньше времени) холодных каменных плит.

Получивши эти сведения, Герасимов удивился, сам поехал в собор, долго смотрел за Распутиной; диву давался — верующая бомбистка; потом заметил, как к ней подошли девушка и молодой мужчина; поставили свечки и тоже начали бить лбы, подолгу замирая в поклоне; господи, ахнул полковник, да они ж переговариваются друг с дружкой и передают что-то!

Герасимов ждать далее не мог, приказал забрать всех, кто молился вместе с Распутиной; троих взяли во время их дежурства возле щегловитовского дома; «влюбленная», щетавшая с юношей, сумела отскокить, когда ее хватили, выхватила браунинг и начала стрелять; обезоружили; третий бомбист крикнул филерам:

— Осторожнее! Я обложен динамитом! Если станете применять силу, взорвутся все дома вокруг, погибнут ни в чем не повинные люди!

Бомбиста привели в охранку, осторожно раздели; действительно, он был опоясан шурами, что вели к запалам на спине и груди; девушка, которая открыла стрельбу, оказалась двадцатилетней Лидочкой Стуре, ее «возлюбленный» — террорист Синегуб; бомбист должен был в случае неудачи коллег броситься под карету, в которой мог ехать министр юстиции; звали его Всеволод Либединцев; выдающийся русский астроном, он работал в Италии, прочил блистательное будущее; записки, найденные после его заарестования, поразили смелостью мысли, — он был на грани рождения новой концепции галактик.

...Через неделю девять арестованных террористов были преданы военно-полевому суду; семерых приговорили к повешению: Лидочка Стуре, поднимаясь на эшафот, повела себя, как Зина Конопляникова, которая была повешена за убийство генерала Мина; прочитала строки Пушкина: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, и на обломках самовластья напишут наши имена!»

Прокурор Ильин, присутствовавший на казни, приехал к Герасимову белый до синевы.

— Мы их никогда не одолеем, — сказал он, с трудом разлепив спешившие губы. — Это люди идеи, герои. А мы трусы. Видим, куда нас тащит тупая бюрократия, и молчим...

Герасимов достал из серванта бутылку «Смирновской», налил два фужера и, поднявшись, тихо произнес:

— За упокой их души, Владимир Гаврилович...

С Азефом — после того, как тот отдал Герасимову столь богатый улов, — полковник встречался реже; двор был потрясен происшедшим; интриги против Столыпина прекратились, — так бывало, если царь по-настоящему пугался.

— Александр Васильевич, — сказал Азеф во время очередного ужина на конспиративной квартире, — поручите, пожалуйста, вашим людям поглядеть за таможенниками: еду отдыхать, видимо, в моей работе сейчас особой нужды нет, премьер на коне, да и вы в фаворе.

— Все будет сделано, Евгений Филиппович, езжайте спокойно, но во избежание дурства — знаете, где живем, от случайности никто не гарантирован — часть золота переведите во французские бумаги, они вполне надежны. Потребуется, всегда реализуете в живые франки.

— Хорошо, — ответил Азеф. — Спасибо за совет. В случае чего я рядом с вами. Как думаете, на

сколько времени Столыпин гарантирован от очередных перепадов настроений в Царском?

— На полгода, — ответил Герасимов, поражаясь тому, что совершенно открыто он мог теперь говорить лишь с одним человеком в России, христомпродавцем и негодяем, который гарантировал и ему самому, да и премьеру спокойствие и свободу рук; парадокс; бывало ли такое в истории человечества?!

ВОТ ПОЧЕМУ РЕВОЛЮЦИЯ НЕМИНУЕМА!(II)

С ежедневной пятнадцатиминутной прогулки Дзержинский вернулся в камеру, разгоряченный спором с Марексом Квициньским, боевиком Пилсудского, человеком необыкновенной храбрости, чистым в своих заблуждениях, резким до грубости, но по сути своей ребенком еще: только-только исполнилось девятнадцать; ждал суда, понимая, что приговор будет однозначным.

— Во всем виноваты москаль, «Переплетчик», — повторял Марекс, — только от них наши муки! Они жестоки, трусливы и жалки! Мы первыми начали девятьсот пятый год, мы, поляки, гордая нация славов, нет такой другой в мире!

— Русские начали пятый год — возразил Дзержинский. — Мы поддержали. Не обманывая себя, Марекс, не надо.



Квициньский был неумолим, о величии поляков говорил с маниакальным упоением; как же страшен слепой национализм, думал Дзержинский; в который уже раз вспомнил Ленина, его «Национальную гордость великороссов»; никогда не мог забыть, как однажды в Стокгольме, в перерыве между заседаниями съезда, Ленин чуть как-то сконфуженно даже заметил:

— Знаете, Юзеф, я внимательно просматриваю западные газеты и не перестаю поражаться их дремучей некомпетентности... Когда мой народ упрекают в том, что он был пассивен в борьбе против самовластья, я спрашивал: а кого, кроме Разина и Пугачева, знают оппоненты? Оказывается, никого. Ни декабристов, ни народолюбцев... Я уж не говорю о Радищеве... А ведь его повесть «Путешествие из Петербурга в Москву» — первый манифест русской революции... Обязательно почитайте... Правда, написано это сладостным мне старым русским языком, но вы, думаю, легко переведете на современный. Почитайте, право, это великолепное пособие для борьбы и с нашими черносотенными шовинистами, и с вашими нафиксатуренными националистами...

...Во время очередной встречи с адвокатом Дзержинский шепотом попросил переслать ему Радищева; через несколько дней тайно доставили в Цитадель.

Дзержинский проглотил «Путешествие» за ночь; после обеда достал перо и чернила, сел за перевод тех положений Радищева, которые показались ему особенно важными.

В конечном счете, подумал он, Пушкин писал «из Шенья», а Мицкевич «из Байрона», я имею право на то, чтобы сделать эту главу понятной Марексу Квициньскому; он постоянно видел лицо юноши перед собою. Неужели не пощадят? Мальчик ведь еще, должен жить...

...Дзержинский оторвался от книги. Какое же надо было иметь мужество и гражданское достоинство, чтобы эдак-то писать во времена Екатерины, когда всякая мысль подвергалась цензуре и каралась смертью?!

Ночью работать не решился: дежурил поганец стражник, постоянно подсматривает в глазок; завтра же донесет про книгу, отберут.

Писать начал, едва рассвело, стражник сменился; работало до хрота, испытывал счастье, прикасаясь к поразительному слову мастера.

...Во время прогулки Дзержинский незаметно сунул переведенные на польский странички в левую руку Квициньского; пальцы юноши были ледяными — тюремный кузнец зажал кандалы на запястьях сверх меры.

— Почитай, — шепнул Дзержинский.

— Что это?

— Почитай, — повторил Дзержинский. — Это в продолжение нашего разговора. Вторую часть закончу завтра.

— Так меня сегодня, может, на эшафот увезут.

— Нет.

— Почему ты так уверенно говоришь, Переплетчик? — Юноша потянулся к Дзержинскому. Ничто так не дорого человеку, как слово надежды в устах старшего.

— Потому что всегда надо верить в добро, которое есть выявление здравого смысла.

Квициньский презрительно усмехнулся:

— Ты успокаиваешь меня, словно ксендза.

— С точки зрения ксендза я говорю ересь.

Стражник, наблюдавший за ними, рявкнул:

— А ну прекратить разговоры!

...Вернувшись в камеру, Дзержинский сразу же сел к столу, тянуло работать; работа — это спасение; тягостное ожидание очередного допроса, гадание о будущем ломает человека, делает его истериком, лишает сна и погружает в безнадежный мир иллюзий, которые суть главный враг поступка, то есть поиска пути к свободе.

Надо бы, подумал Дзержинский, уже загодя готовить школьные программы, которые мы предложим детям после революции. Без Радищева невозможно понять величие революционной мысли России, с него начинать надо изучение русского освободительного движения.

...Дзержинский подходил по камере, остановился возле окна; заколочено: сырость, духота, смрад; начал вспоминать, когда Лютер восстал против папства. Кажется, в пятьсот семнадцатом. Или в девятнадцатом... Тридцать лет прошло с той поры, как курфюрст Бертольд провозгласил зверство, то есть запрет на мысль, выраженную словом... Как ужасно, что истории нас учат столь поверхностно! Суть этой науки о будущем — именно так, история дает возможные модели будущего — ушные цензоры из министерства просвещения сводят к зубрежке дат. Живая мысль, правда, копируется; порою начинает казаться, что главной задачей педагогов является желание вызвать в учениках ненависть к предмету, который невозможно одолеть без слепой зубрежки. А литература? Как у нас учат Мицкевича? Да не учат его, потому что Петербург боится его памяти! И с Пушкиным не лучше! Выучи «Я помню чудное мгновенье» — и хватит... «Записки о Пугачевском бунте» — ни-ни, детям этого не надо, зачем ранить впечатлительные души?

Тем не менее современная русская инквизиция не сможет держаться так долго, как подлинная, западно-европейская. Поезда, телефоны, телеграф, пароходы, воздухоплавание — все это сблизило народы, сделало их взаимосвязанными... Марксизм, как наука, оформился и заявил себя по-настоящему в шестидесятых годах, а уже в восьмидесятых Плеханов с Аксельродом принесли его в Россию; через двадцать пять лет после этого началось революция — против имперской инквизиции, за права народа. Взаимозависимость мира — факт объективный, и как бы ни хотели польские националисты или русские шовинисты законсервировать «самость», прогресс им этого не позволит.

Вернувшись к столу, Дзержинский продолжил перевод, ощущая такую радость, словно вырвался из тюремного, затхлого ужаса в тишину весеннего леса, полного затаенным гудом первых ручьев, разрушающих глыбы снега, которые кажутся вечными, покрывшими землю навсегда; такое страшное чувство он впервые ощутил девятнадцать лет от роду, когда был сослан на север Вятской губернии; от кровохарканья его там лечил Иван Пунько; жил раньше со ссыльным поселенцем Николаем Бердяевым; тот знал множество народных рецептов, посоветовал попробовать медвежье сало; помогло. Именно там, на севере, Дзержинский и ощутил страх, когда ушел в апрельский лес, увидел глыбы мертвого снега и не сразу понял тайный смысл тяжелого, устойчивого, постоянного гуда — началось таяние, невидное еще, но уже необратимое...

...Квициньский ловко передал ему прочитанные странички, спрятал в бушлате новые; быстро же человек привыкает к кандалам, нет ничего страшнее, когда такая привычка входит в плоть и кровь; тихо спросил:

— Кто это пишет?

— Москаль, — ответил Дзержинский, улыбувшись.

— Достоевский?

— Радищев.

— Я и не слышал про такого...

— Как тебе?

— Интересно, — задумчиво ответил Квициньский. —

Но этот Радищев наверняка не чистый русский.

— Это как? — споткнувшись даже, Дзержинский 31

резко повернулся к спутнику и сразу же услышал окрик стражника: «Не переговаривайся!»

Пять минут ходили молча; потом, понизив голос до едва слышного шепота, Дзержинский повторил:

— Что значит «чистый» или «не чистый»? Объясни.

— В нем была или наша кровь, или немецкая... Ни один русский так горько не осудит своего правителя, пусть даже деспота.

— Ты это серьезно?

— Конечно. Разве ты сможешь написать плохо о поляке, даже если тот и не прав? Все-таки свой...

— Тебя кто выдал охранке?

— Провокатор, кто ж еще...

— «Чистый» поляк? Или «не чистый»?

Теперь дрогнул Квицинский, затормозил вослед Дзержинскому, чтобы стражник не заметил разговора; словно бы самому себе заметил:

— Его били... Вынудили... Москали били, Юзеф...

— Радищева вынуждали отказать от написанного тоже москали. Он не отрекся.

— Все равно, — упрямо возразил Квицинский. — Национальный вопрос — это та ось, на которой сози-

дается революция и борьба за свободу... Завтра на прогулку не выйду — везут на приговор. Если потом отволокут на эшафот, странички передам нашим, они тебя найдут...

...В камере Дзержинский вспомнил последние слова Марек; никакого волнения; только глаза блестят, словно у парня очень высокое давление крови; маленька рассказывала, что у папы бывали такие приступы: румянец на скулах и блеск в глазах; так то же у отца, а этому девятнадцать; господи, пусть стоит на своем, только б не осудили к смерти...

«...Поразительно, — думал Дзержинский, — какой изумительный дар предвидения. Радищев ошибся всего на двадцать лет. Формальный акт об отмене рабства случился именно тогда, когда он ждал его, понимая, что раньше ничто не может произойти в несчастной стране, задавленной самовластьем... Сколько же надо было положить жизней, да каких еще, чтобы власть хоть как-то задумалась — не о подданных даже, а о своей собственной судьбе... Гибель Пушкина, Лермонтова, Белинского, казнь декабристов, Петрашевский, Достоевский, Добролюбов, травля Чернышевского, отчаяние Герцена, а уж потом «Народная воля» — терпение народа истощилось, взялись за взрывчатку, поняв, что двор ничего не отдаст добром...

Какая страна может положить на весы истории столько гениев, отдавших жизнь делу борьбы за свободу своего народа?! А вышли все из рук Радищева, прав Ленин...»

...На прогулку Квицинский не вышел.

Дзержинский обстучал соседние камеры — о приговоре никто еще не знал; ночью свой стражник передал листочки, которые Марек взял на прогулке, прикончившись к руке Дзержинского своей поспевшей от тесного наручника ледышкой; на обороте последней страницы было написано: «Юзеф, жаль, что не смогу дочитать до конца. Иду на виселицу. Вместе со мною идет русский, Андрей Прохоров, эсер. Мы умрем, взявшись за руки. Прощай. Марек».

ПРОВОКАЦИЯ (II)

Тщательно фиксируя все, что происходило в салонах империи (информированность по праву считается первоосновой силы), Герасимов на этот раз побоялся отправить Столыпину отчет о перлюстрации писем наиболее богатых землевладельцев и правых политиков, так они были резки.

Тем не менее, полагал он, не показать этого Столыпину нельзя; в конечном счете лишь один премьер решал, ознакомить ли с этим государя или нет; Герасимов всегда помнил, сколь точно Петр Аркадьевич дозирует «негативную информацию», отправляемую в Царское Село; ситуация непростая.

Герасимов долго думал, как ему следует поступить; остановился на том, чтобы имитировать приступ острого ревматизма; слег дома; позвонил полковнику Еленскому:

— Сделайте милость, возьмите, пожалуйста, у меня на столе папку для срочного доклада Петру Аркадьевичу и напишите сопроводительное письмо, упредив, что документ носит совершенно секретный характер, вручить в собственные руки.

— Непременно сделаю, Александр Васильевич, — ответил Еленский своим вкрадчиво-сладким голосом (с агентами говорил аффективно, всячески выказывая свою к ним любовь и уважение; жился в образ; поэтому и с сослуживцами говорил так же). — Отправить надобно с фельдъегерем? Или вручить его высокопревосходительству самолично?

— Полагаю, самолично, — после короткой паузы ответил Герасимов.

Еленский перезвонил через час, извинился, что тревожит, и сообщил:

— Документ отправлен, хоть премьер не было на месте; чего ж попусту тратить время на ожидание; оставил секретарю для передачи в собственные руки.

Герасимов сразу же понял: прочитал сукин сын перлюстрацию, непременно прочитал, потому и сделал «шаг в сторону»; сухо поинтересовался:

— Сопроводилопочку подписали?

— Я попросил сделать это вашего адъютанта, при совокупив, что вы не смогли доставить папку лично в связи с болезнью.

— Ну, спасибо, — ответил Герасимов. — Большое вам спасибо... Только впредь просил бы мои документы, направляемые главе правительства, не читать без моей на то санкции.

— Да я и не заглядывал в них, — с еще большей аффектированностью ответил Еленский. — Как можно-с?!

— А чего ж тогда сами не отвезли?!

Герасимов в сердцах швырнул трубку на рычаг; ну и народец! Каждый только и норовит подсидеть сослуживца, никто делом не хочет заниматься! Нет, погибнет империя, всенепременно погибнет, японцы с немчурой поставят гарнизоны, грянет новое иго! Не об том надобно торжественные речи произносить, как Донской иго сбросил, а про то, отчего под ним оказались! Междоусобица, подсиживание друг дружки, злоба и страх за шкуру, господи, сохрани господь святую Русь!

Достав из сейфа копию доклада о перлюстрации, Герасимов прочитал его заново и ужаснулся тому, что все это лежит на столе Петра Аркадьевича.

...Назавтра Столыпин позвонил самолично сразу после завтрака, в девять; Герасимов отчего-то явственно представил себе легонкий, ажурный подстаканник, из которого Петр Аркадьевич обычно пил крепкий калмыцкий чай; в голосе премьера не было гнева, одна усталость. Справившись о здоровье, поинтересовался, не нужен ли хороший лекарь; осведомился, когда «милого Александра Васильевича» можно ждать на ужин, множество нерешенных вопросов; здоровье, понятно, прежде всего: «Вы очень, очень нужны империи, Александр Васильевич... И мне... Спасибо за вашу прямоту и преданность».

Прочел, понял Герасимов; не взвился, ждет помощи; снова я угадал момент; бог меня хранит; хотя он всегда хранит того, кто умен и смел; прав Петр Аркадьевич: законы надо писать для тех, кто силен и трезв, а не в угоду пьяным и слабым; пусть победит достоянный...

Петр Аркадьевич принял его дружески, заботливо усадил в кресло и, положив сухую, маленькую ладошку (чисто, как у барышни, подумал Герасимов, вот что значит порода) на папку, в которой лежал отчет о перлюстрациях, спросил:

— Ну, и что же будем делать, Александр Васильевич? Отправлять государю в таком виде? Или, может, и вы гибели моей хотите?

— Да, господи, Петр Аркадьевич, как можно! Хотел бы — запустил это, — он кивнул на папку, — самолично...

— А ваш адъютант этого самолично не мог сделать? — глухо спросил Столыпин, тяжело скрывая ярость, внезапно в нем вспыхнувшую. — Гарантии есть?!

Герасимов ответил:

— Гарантий нет. А придумать дело, которое понудит сферы оставить это, — он кивнул на папку, — без внимания, я вам обещаю... Но для этого и вы должны помочь мне: я должен знать, каких внешнеполитических поворотов можно ожидать в ближайшем будущем. Эсеры на это очень быстро реагируют...

— Ждите сближения с Англией, — ответил Столыпин. — И с Парижем.

Вернувшись в охранку, Герасимов сразу же отправил условную телеграмму Азефу; начал считать дни; без Евно как без рук, на него вся надежда.

ВОТ ПОЧЕМУ РЕВОЛЮЦИЯ НЕМИНУЕМА!

Вчера мне был вручен обвинительный акт. Член Судебной палаты любезно пояснил, что у меня три дня времени на указание нужных свидетелей; дело будет слушаться не ранее августа.

В обвинительном акте нет ни малейшего доказательства моей вины, и меня должны были бы освободить, если бы можно было ждать приговора, зависящего не от произвола и настроения судей, а от юридических доказательств. Я, впрочем, совершенно не рассчитываю на освобождение. Возможно, состряпают новое дело в военном суде, а если почему-либо не сделают это теперь, то в случае оправдания Судебной палатой предъявят новое обвинение на основании тех бумаг, которые были найдены у меня в последний раз...

...Уже два дня рядом со мной сидит восемнадцатилетняя работница, арестованная четыре месяца назад. Поет. Ей разрешают петь. Молодая, она напоминает ребенка. Мучается страшно. Стучит мне, чтобы я прислал ей веревку, — повеситься. При этом добавляет: веревка должна быть непременно от сахара, чтобы сладко было умирать. Она так нервно стучит и с таким нетерпением, что почти ничего нельзя понять, и тем не менее она все время зовет меня своим стуком; видно, места себе найти не может. Недавно она мне вновь простучала: «Дайте совет, что делать, чтобы мне не было так тоскливо».

У нас постоянные столкновения с жандармами. Живая, как ребенок, она не в состоянии ни переносить,

ни примириться с господствующим здесь режимом.

Эта девушка — полурбенок, полусумасшедшая — устроит когда-нибудь большой скандал.

Первого мая, во время прогулки, она кричала: «Да здравствует революция!» и пела «Красное знамя». Все были взволнованы, колебались, петь ли, поддерживать ли ее; никто не желал показаться трусом, но для того, чтобы петь, каждый должен был насильствовать себя: такая бесцельная, неизвестно для чего затеянная демонстрация не могла вызвать сочувствия... Тюрьма молчала...

...По временам эта девушка вызывает гнев. Ее смех, пение, столкновение с жандармами вносят в нашу жизнь нечто постороннее, чуждое, а вместе с тем дорожное, желанное, но — не здесь. Чего хочет эта девушка, почему нарушает покой? Невольно сердиться. Но начинаешь рассуждать: «Ее ли вина, что ее, ребенка, заперли здесь, когда ей следовало еще оставаться под опекой матери, когда ей вполю играть, как играют дети?!» А может быть, у нее нет матери и она вынуждена бороться за кусок хлеба? Этот ужасный строй заставил ее принять деятельное участие в революции, а теперь мстит ей за это. А сколько таких — с детства обреченных на жалкое, нечеловеческое существование? Сколько людей, чувства которых извращены, которые обречены на то, чтобы никогда, даже во сне, не увидеть подлинного счастья и радости жизни! А ведь в природе человека есть способность чувствовать и воспринимать счастье! Горсть людей лишила этой способности миллионы, исковеркав и развратив самое себя; остались только «безумие и ужас», «ужас и безумие» или роскошь и удовольствия, находимые в возбуждении себя алкоголем, властью, религиозным мистицизмом. Не стоило бы жить, если бы человечество не озарилось звездой социализма, звездой будущего. Ибо «я» не может жить, если оно не включает в себя остальной мир и людей...

...Сегодня заковали двоих. Их вели из кузницы мимо наших окон. Моя соседка Ганка приветствовала каждого из них возгласом: «Да здравствует революция!» Ободренные, они ответили тем же. Должно быть, их приговорили сегодня, — возможно, к виселице.

...Ганка ужасно страдает, не поет, присмирела. Она узнала, что вчера ее брат приговорен к смерти. Вечером она мне простучала: «Сегодня, может быть, его повесят, разрешат ли мне попрощаться с ним? Я остаюсь одна-одинехонька. А может быть, они выполнят свою угрозу и меня тоже повесят. А он такой молодой. Ему всего двадцать один год». Что мне было сказать ей? Я простучал, что она несчастное дитя, что мне жаль ее, что мы должны перенести все. А она ответила, что не знает, стоит ли теперь жить. Когда эта ужасная смерть похищает кого-нибудь из близких, нельзя освободиться от этой мысли, убежать, забыть; эта мысль постоянно возвращается; стоишь у пропасти ужаса, становишься беспомощным, бессильным, безумным.

...Вечером, когда я при свете лампы сидел над книгой, услышал снаружи тяжелые шаги солдата. Он подошел к моему окну и прильнул лицом к стеклу, не побоялся.

— Ничего, брат, не видно, — сказал я дружелюбно. — Да! — послышалось в ответ. Он вздохнул и секунду спустя спросил: — Скучно вам? Заперли (последовало известное русское ругательство) и держат!

Кто-то показался во дворе. Солдат ушел.

Эти несколько грубых, но сочувственных слов вызвали во мне целую волну чувств и мыслей. В этом проклятом здании от тех, чей сам вид раздражает и вызывает ненависть, услышать слова, напоминающие великую идею, ее жизненность и нашу связь — узников с теми, кого в настоящее время заставляют нас убивать! Какую колоссальную работу проделала революция! Она разлилась повсюду, разбудила умы и сердца, вдохнула в них надежду и указала цель. Этого никакая сила не в состоянии вырвать! И если мы в настоящее время, видя, как ширится зло, с каким цинизмом из-за жалкой наживы люди убивают людей, приходим иной раз в отчаяние, то это ужаснейшее заблуждение. Мы в этих случаях не видим дальше своего носа, не сознаем самого процесса воскрешения людей из мертвых. Японская война выявила ужасную дезорганизацию и развал русской армии, а революция только обнажила зло, разъедающее общество. И это зло должно было обнаружиться для того, чтобы погибнуть. И это будет!

...Сегодня у меня впервые было свидание. Пришла жена брата с маленькой Видзей. Девочка играла проволочной сеткой, показывала мячик и звала: «Иди, дядя». Я очень рад, что их видел. Я их очень люблю. Они мне принесли цветы, которые теперь красуются на моем столе. Жена брата радовалась, что у меня хороший вид, и я уверял ее, что мне здесь хорошо и весело. Я сказал ей, что, вероятно, меня ожидает каторга...

Именно во время этого свидания сестра и произнесла ту условную фразу, которую ей передал Вацлав Воровский; Дзержинский не смог сдержать улыбку: ему стало ясно, что дело против Азефа началось.

Продолжение следует.



Читайте в ближайших номерах:

Трудности «двухсменки».
О переходе предприятий Харькова на новый режим работы.



Познание себя.
Шаги школьной реформы.

Он и Она. Социолог читает почту «Смены».

Тяжело в учении...
Продолжение рассказа о воинах-десантниках.



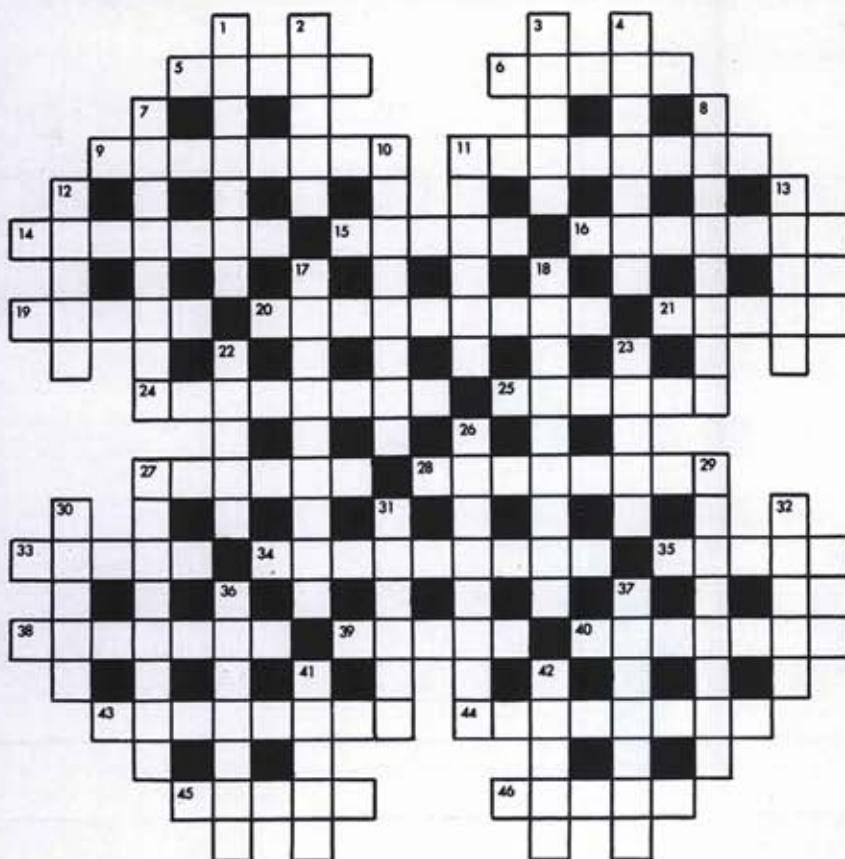
Ираклий Абашидзе о Пушкине.

Почему чемпион мира уходит из сборной.
Конфликтная ситуация.



В «Музыкальном клубе» — Владимир Пресняков.

Подписка на «Смену» не закончилась, она продолжается. Вы можете выписать журнал в любом почтовом отделении, в агентстве «Союзпечати» до 1-го числа предподписного месяца. В розницу журнал поступает в ограниченном количестве.



По горизонтали:

5. Конан Дойл — Холмс, Сименон — Мегрэ, Агата Кристи — ... 6. Пришли воры, хозяев украли, а дом в окошки ушел (загадка). 9. Одна из специальностей жителей аула Кубачи в Дагестане. 11. «Избавь. Ученостью меня не обморочишь...» (персонаж «Горя от ума» А. Грибоедова). 14. Порт во Франции, давший название гимну страны. 15. Противоположность тыла. 16. Одна из стран, расположенных в Северном и Южном полушариях. 19. Слезы прекрасной девы, богини света Каралуни (литовская мифология). 20. Обязательный танец в парном катании на льду. 21. Инструмент для обработки деревянного изделия. 24. Территория в США для насильственного поселения индейцев. 25. Осенняя работа на селе. 27. Девушка в греческой мифологии,

превращенная Афиной в паука за вызов ее на состязание в искусстве ткачества. 28. Персонаж рассказа Конан Дойла «Собака Баскервильей». 33. Древнеримская весовая единица, на основе которой было поставлено монетное дело. 34. Мечта каждого старателя в рассказах Д. Лондона. 35. Музыкальный жанр, возникший в Италии в эпоху Ренессанса. 38. Музыкальный инструмент украинских кобзарей. 39. Народ, живущий в Азербайджане и Грузии. 40. Перепись населения в старой России. 43. Специальность строителя. 44. Французский физик и инженер, открывший явление ползучести. 45. Дерево, которое называют золушкой нашего леса. 46. Дальневосточный хищник, зимой чаще всего нападающий на кабаргу.

По вертикали:

1. Птица, символ покоя и мира у японцев. 2. Древнее метательное оружие. 3. Газ, преобладающий в атмосфере Урана. 4. Народная игра, развивающаяся, по словам А. В. Суворова, глазомер, быстроту и натиск. 7. Месяц жатвы во французском республиканском календаре. 8. Глажи, моклаки, морошка, моховая смородина (общее название). 10. Мясной продукт. 11. Вежливое обращение к мужчине в Испании. 12. Великий поэт, чье стихотворение стало гимном Индии. 13. Рыба, название которой можно встретить едва ли не в каждой книге о гражданской войне. 17. Предмет снаряжения охотника. 18.

Морская птица, непревзойденный мастер парящего полета. 22. Клубный работник в деревне. 23. Народное название травы смолевки. 26. Мал ..., да дорог (поговорка). 27. Статуя Праксителя, известная более чем по 50 копиям. 29. Змея, черепаха, ящерица (общее название). 30. Государство, одна из горячих точек планеты. 31. Птица, изображенная на гербе Боливии. 32. Молодогвардеец. 36. Вареное или жареное мясо с приправой. 37. Качество, издревле присущее русским воинам. 41. Мороз, холод. 42. «Русский Пизарро», по истории Н. М. Карамзина.

ОТВЕТЫ

на кроссворд, опубликованный в № 20

По горизонтали:

3. Мопед. 8. Педагог. 10. Евгений. 12. ...владыка. 13. Пшеница. 14. Аметист. 15. Фор. 17. Скетч. 18. Церий. 19. Химия. 22. Сверхпроводимость. 23. Электрокоагуляция. 28. Юферс. 29. Индия. 31. Бочка. 33. Оже. 35. Ондатра. 37. Черешня. 38. Ударник. 39. Щеколда. 40. Жонкиль. 41. Наина.

По вертикали:

1. Меншиков. 2. Гарнитур. 3. Мгла. 4. Подзор. 5. Дека. 6. Нейтрино. 7. Тиоспирт. 9. Овца. 11. Вами. 15. Федоскино. 16. Рисование. 20. Шпора. 21. Зипун. 24. Лафонтен. 25. Корсаков. 26. Ярошенко. 27. Инконель. 30. Джерси. 32. Труд. 34. Веко. 36. Адан. 37. Чиж.

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

Основан в январе 1924 года. Выходит два раза в месяц.

№ 21 (1451)
ноябрь 1987

Москва, издательство «Правда»

Главный редактор
Альберт ЛИХАНОВ

Редколлегия:
Валерий ВИНОКУРОВ
Борис ДАНОШЕВСКИЙ
(ответственный секретарь)
Владимир ДЕСЯТЕРИК
Михаил КИЗИЛОВ
(заместитель главного редактора)
Александр КУЛЕШОВ
Иосиф ОРДЖОНИКИДЗЕ
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Евгений РЯБЧИКОВ
Вадим САЮШЕВ
Виталий СЕВАСТЬЯНОВ
Владислав СЕРИКОВ
Олег ШЕСТИНСКИЙ

Главный художник
Виталий ФЕДОРОВ

Художник
Геннадий КОРНЫШЕВ
Технический редактор
Александра ГУСЕВА



101457, ГСП, Москва,
Бумажный проезд, 14



212-15-07 — для справок. Отделы:
212-21-59 — рабочей молодежи и науки.
250-29-39 — коммунистического воспитания.
251-32-84 — фотоочерка.
212-21-38 — военно-спортивный.
212-13-19 — международной жизни.
251-04-10 — литературы и искусства.
212-11-27 — писем и массовой работы.

Рукописи, фото и рисунки не возвращаются. Рукописи объемом более одного авторского листа (24 машинописные страницы) редакцией не рассматриваются.

© Издательство «Правда». «Смена», 1987 г.

Сдано в набор 18.09.87. Подписано к печати 01.10.87. А 04785. Формат 70×108½. Глубокая печать. Усл. печ. л. 5,60. Уч.-изд. л. 11,55. Усл. кр.-отт. 21,7. Тираж 1 300 000 экз. Изд. № 2977. Заказ № 1329. Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

